

ГЛАВА V.

Эпоха общественнаго мѣщанства.

Гл. Успенскій.

Героическая эпоха семидесятыхъ годовъ закончилась поединкомъ на жизнь и на смерть между правительствомъ и народовольцами, между представителями системы официальнаго мѣщанства и русской интеллигенціей. Мы знаемъ, что борьба эта кончилась разгромомъ Народной Воли и полнымъ поражениемъ интеллигенціи въ ея борьбѣ за политическую свободу и социальныя реформы; эпилогъ этой борьбы относится приблизительно къ 1883 году, съ котораго ведетъ свое начало тусклая и сѣрая эпоха восьмидесятыхъ годовъ. Итакъ, исходъ борьбы былъ трагическій:—

Смогли честные, доблестно навшиѣ!..

Цвѣтъ русской интеллигенціи былъ сорванъ и растоптанъ; богатырскія силы были погублены; лучшіе и сильные люди сошли со сцены; уцѣлѣвшіе, за немногими исключеніями, замѣтно понизились этически; на первый планъ выступили сѣрые, второстепенные люди, вскорѣ заполнившіе собою всю жизнь; минулъ вѣкъ богатырей, и—

...смѣшались шапки,
И полѣзли изъ щелей
Мошки да букашки...

Тутъ только выяснилось, какъ много мѣщанства таило въ себѣ русское „культурное“ общество, заполненное сверху до-низу „дикарями высшей культуры“. И если мрачное тридцатилѣтіе 1825—1855 гг. было названо нами эпохой официальнаго мѣщанства, то

сѣрое десятилѣтіе восьмидесятыхъ годовъ по справедливости заслуживаетъ названія эпохи мѣщанства общественнаго. Въ николаевскую эпоху мѣщанство было официальнымъ *mot d'ordre*, но оно было только именно *официальнымъ* мѣщанствомъ: все русское общество, всѣ представители интеллигенціи—и западники и славянофилы, и Гоголь и Лермонтовъ, и Бѣлинскій и Аксаковъ—всѣ были союзниками въ борьбѣ съ мѣщанствомъ. Теперь, въ восьмидесятыхъ годахъ передъ нами совершенно иная картина: въ правительственныхъ сферахъ снова провозглашается система официального мѣщанства и не встрѣчаетъ достойнаго отпора въ громадномъ большинствѣ „культурнаго“ общества; общественное мѣщанство присоединяется къ мѣщанству официальному.

Долгіе годы русская интеллигенція вела борьбу съ мѣщанствомъ во всѣхъ его видахъ и проявленіяхъ. Казалось, что мѣщанству нанесенъ смертельный ударъ, что оно погребено подъ собственными развалинами, что оно не воскреснетъ болѣе; все это казалось... Но вотъ пришли семидесятые годы—и одновременно съ ярко анти-мѣщанскимъ поколѣніемъ этой эпохи народилось на Руси мѣщанство сословное: „чумазый пришелъ“. Это новое сословное мѣщанство немедленно впитало въ себя всѣ основныя свойства мѣщанства этического, которое переселилось этажемъ ниже: Колупаевы и Разуваевы приобрѣли на дешевкѣ міровоззрѣніе Штольцевъ и Адуевыхъ. Но это было еще съ поль-бѣды; главная бѣда пришла съ другой стороны: русская интеллигенція, въ ея цѣломъ, ухватилась въ восьмидесятыхъ годахъ за эти адуевскіе идеалы; русская интеллигенція пришла къ мѣщанству... Другими словами это значитъ: въ восьмидесятыхъ годахъ русская интеллигенція почти сходитъ на нѣтъ, вымираетъ; ибо основнымъ отрицательнымъ признакомъ интеллигенціи, какъ мы знаемъ, является именно ея анти-мѣщанство. Русская интеллигенція таетъ въ восьмидесятыхъ годахъ „яко воскъ отъ лица огня“; часть ея представителей заселяетъ собою Сибирь и Шлиссельбургъ; часть пробуетъ вести энергичную борьбу съ вакханаліей общественно-официальнаго мѣщанства—но тщетно; часть, покинувъ Россію, продолжаетъ дальнѣйшее развитіе русской общественной мысли и въ послѣдствіи становится во главѣ русской интеллигенціи девяностыхъ годовъ. Но это въ послѣдствіи; въ восьмидесятыхъ же годахъ ни одна изъ этихъ группъ интеллигенціи не можетъ извлечь общество изъ состоянія апатіи, смѣнившей бурную работу предшествовавшей эпохи. Первая группа—забыта, третья—далека, вторая—безсильна. Въ этой второй группѣ соединились

немногіе удѣлѣвшіе соціалисты съ немногими продолжавшими борьбу либералами; послѣ гибели „Отечественныхъ Записокъ“ (1884 г.) соціалисты разсѣиваются по либеральнымъ журналамъ, изъ которыхъ должны быть помянуты добромъ „Вѣстникъ Европы“ и „Русская Мысль“; но голосъ ихъ звучитъ въ пустынь. Шелгуновъ въ своихъ знаменитыхъ „Очеркахъ“ энергично, но тщетно борется съ общей вакханаліей мѣщанства; Салтыковъ пишетъ свои удивительныя по силѣ „Пестрыя письма“ и свои великолѣпныя „Сказки“; Михайловскій продолжаетъ свою прежнюю дѣятельность... но всѣ они только искорки въ густомъ туманѣ мѣщанства восьмидесятихъ годовъ. На первый планъ выступаетъ „Недѣля“, со своей сугубо мѣщанской проповѣдью; громадное распространіе получаетъ „Новое Время“, роль котораго для восьмидесятихъ годовъ такъ же характерна, какъ для эпохи официального мѣщанства была характерна „Сѣверная Пчела“ Булгарина. Всюду выступаетъ на первое мѣсто то торжествующее, то ползучее мѣщанство (одно, впрочемъ, не противорѣчитъ другому); почти вся русская интеллигенція того времени символизируется типомъ чеховскаго человѣка въ футлярѣ. Рѣзкіе протесты немногихъ противъ этого угнетающаго душу мѣщанства заглушаются самодовольной проповѣдью умѣренности и аккуратности, постепенности и самосовершенствованія. Да, поистинѣ эти печальной памяти восьмидесятыя годы были *эпохой общественнаго мѣщанства*, въ тысячи разъ болѣе ужасной, чѣмъ эпоха мѣщанства официального: тогда давило всѣхъ и вся бюрократическое мѣщанство, теперь къ этому присоединилось и мѣщанство общественное, мѣщанство русскаго „культурнаго“ общества... Интеллигенція ступшевывается; „культурное“ общество выступаетъ на первый планъ и пытается играть роль интеллигенціи... Здѣсь какъ нельзя ярче выяснилась та разница между представителемъ интеллигенціи и „культурнымъ“ человѣкомъ, о которой намъ приходилось говорить раньше (т. I, Введение).

Во главѣ „культурныхъ“ людей, заполонившихъ и наполнившихъ собой эпоху общественнаго мѣщанства, стали знакомые намъ лавристы семидесятихъ годовъ. Одни изъ нихъ занялись мелкимъ культуртрегерствомъ, другіе сложили въ бездѣйствіи руки, чтобы переждать въ тиши время бѣлаго террора. Интереснѣе всего то, что эти люди продолжали считать себя „солью земли“, лучшими представителями русской интеллигенціи—и ссылались при этомъ на Лаврова, который якобы вполне одобряетъ подобную тактику бездѣйствія!.. Эти представители теорій умѣренности, аккуратности и

самосовершенствованія пробовали оправдать свою пассивную дряблость именемъ величайшаго русскаго революціоннаго борца, всегда энергичнаго, всегда активнаго и безстрашнаго! Недаромъ Лавровъ настойчиво отказывался отъ почетнаго названія лавриста... И однако лавристы были правы, оправдывая свою тактику именемъ Лаврова...

Дѣло въ томъ, что Лавровъ былъ безъ вины виноватъ: еще въ шестидесятыхъ годахъ онъ однажды дѣйствительно высказался въ духъ „лавризма“, выражая свое мнѣніе о теоріи самосовершенствованія. Взглядъ Лаврова на эту теорію былъ глубоко вѣрный; онъ ясно и опредѣленно выразилъ его въ шестомъ изъ своихъ „Историческихъ Писемъ“. Въ письмѣ этомъ Лавровъ задается вопросомъ: „...долженъ ли человѣкъ преимущественно работать надъ собою, ставя своей цѣлью личное совершенство, независимо отъ общественныхъ формъ, его окружающихъ, и участвуя въ общественной жизни лишь настолько, насколько ея формы вполне соответствуютъ его требованіямъ? Или онъ долженъ направить свою дѣятельность преимущественно на выработку изъ данныхъ общественныхъ формъ возможно лучшихъ результатовъ для настоящаго и будущаго, хотя бы формы, въ которыхъ ему приходится дѣйствовать, были крайне неудовлетворительны, дѣятельность его—весьма незначительна?“... Проблема эта поставлена какъ будто въ предвидѣніи эпохи восьмидесятыхъ годовъ... Что касается рѣшеній этой проблемы, то Лавровъ видитъ, что крайнія рѣшенія ея въ одну или другую сторону ведутъ къ крайностямъ ультра-индивидуализма и анти-индивидуализма: въ первомъ случаѣ самосовершенствованіе ведетъ къ общественному индифферентизму, во второмъ же случаѣ „личность не только отказывается отъ самосовершенствованія—она отказывается и отъ способности оцѣнить, приносить ли она обществу пользу или вредъ, живетъ ли она въ немъ какъ производитель или какъ паразитъ“... Лавровъ указываетъ, что необходимъ синтезъ этихъ двухъ требованій: „какъ личность можетъ нормально развиваться только во взаимодействіи съ общественною жизнью, такъ полезная общественная дѣятельность можетъ имѣть мѣсто лишь при саморазвитіи личностей въ ней участвующихъ“ („Ист. Письма“, стр. 111—113). Вотъ вполне ясное и вполне вѣрное рѣшеніе поставленной проблемы, тѣсно связанной съ проблемой индивидуализма: личное совершенствованіе при отрицаніи общественной дѣятельности настолько недопустимо этически, насколько общественная работа недопустима социологически внѣ личнаго совершенствованія (последнюю мысль развилъ Михайловскій своимъ знамени-

мяловскаго, человѣку съ большими запросами отъ жизни думается: „о, Господи, не накажи меня подобнымъ счастьемъ, не допусти меня успокоиться въ томъ мирномъ, безмятежномъ пристанищѣ, гдѣ совершается такая жизнь“. И ты счастливъ?—спрашиваетъ Молотова его невѣста Надя, симпатичная, ищущая натура, съ задатками болѣе глубокими и съ запросами болѣе широкими, чѣмъ на какіе можетъ отвѣтить Молотовъ (ихъ взаимоотношеніе приблизительно таково же, какъ между Ольгой и Штольцемъ). Но Молотовъ не настолько мѣщанинъ, какъ Штольцъ! онъ хотя и пытается оправдать свое мѣщанство, но все-таки сознается, что ему приходится испытывать тоску: „экое дѣло, думалось мнѣ, что я честенъ, не пью водки и въ квартирѣ у меня хорошо!.. Что въ томъ толку?.. Куда пошли мои силы?.. На брюхо свое, на добываніе насущнаго хлѣба!.. Благонравная чичиковщина!.. Скучно!.. Чортъ бы побралъ, думалъ я, мое мѣщанское счастье!..“ Но все это говорится въ прошедшемъ времени; въ настоящемъ же Молотовъ оправдываетъ себя тѣмъ (и оправданіе это хуже всякаго обвинительнаго приговора), что онъ средній человѣкъ, человѣкъ толпы: „неужели запрещено устроить простое, мѣщанское счастье?.. Надя, милліоны живутъ съ единственнымъ призваніемъ—честно наслаждаться жизнью... Мы простые люди, люди толпы. Ты согласишься на это?“ И бѣдной дѣвушкѣ, которая ждала и достойна была лучшаго, приходится отвѣтить съ ясно просвѣчивающей грустью передъ разрушенными мечтами и иллюзіями: „я... твоя вѣдь!“ И этимъ Помяловскій оканчиваетъ свою повѣсть, справедливо и съ горечью отмѣчая отъ себя: „тутъ и конецъ мѣщанскому счастью. Эхъ, господа, что-то скучно!..“ Этими же почти словами закончилъ Гоголь рассказъ о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ; да и въ самомъ дѣлѣ, развѣ есть рѣзкая граница между мѣщанскимъ счастьемъ Молотова и растительнымъ счастьемъ гоголевскихъ героев? Главная разница въ томъ, что Молотовъ представляетъ изъ себя нѣчто среднее пропорціональное между мѣщаниномъ и лишнимъ человѣкомъ; отъ лишняго человѣка его отдѣляетъ мѣщанство, отъ мѣщанства—сознаніе, что онъ мѣщанинъ. Въ немъ олицетворилось невольное и безсознательное влеченіе нѣкоторой части разночинцевъ къ мѣщанству и въ то же самое время сознаніе всѣхъ отрицательныхъ сторонъ этого мѣщанства. Помяловскій, самъ разночинецъ, относился къ своему герою съ достаточной симпатіей въ первой повѣсти, и не скрывалъ своего проницательнаго отношенія къ нему во второмъ романѣ, гдѣ Молотовъ сталъ ближе къ мѣщанству. И

если на типъ Молотова мы знакомимся съ небольшою частью разночинцевъ, сохранившихъ свои симпатіи къ мѣщанству, то въ Помяловскомъ мы видимъ разночинца шестидесятыхъ годовъ, относящагося къ мѣщанству болѣе чѣмъ съ ненавистью. Художникъ Череванинъ, со своей философіей „кладбищенства“, появляющійся въ „Молотовѣ“ — alter ego Помяловскаго; онъ такъ кладбищенствуетъ о мѣщанахъ: „у этихъ людей ничего нѣтъ своего, нѣтъ нравственной собственности. Все это ходячее повтореніе и подражаніе... Что бы ни дѣлали эти люди: смотрятъ ли они на закатъ солнца, ѣдятъ ли горячія щи, Богу ли молятся или хоронятъ отца, — и мысль, и слово, и смѣхъ, и слезы — все у нихъ получено по наслѣдству; и добродѣтели у нихъ не свои, и пороки не свои, и умъ чужой. Что же ты такое, эй ты, честный человѣкъ? Гдѣ твоя личность, индивидуальность, гдѣ твой талантъ, прибавилъ ли ты хоть грошъ къ нему?“ Конечно не прибавилъ, такъ какъ мѣщанинъ не имѣетъ своей индивидуальности (Помяловскій; Сочиненія, „Молотовъ“, стр. 157, 192, 255, 295—300 и др.).

Мы уже встрѣчались съ кладбищенствомъ Череванина; теперь же отмѣчаемъ то обстоятельство, что задуманная Помяловскимъ апологія мѣщанства (если она была имъ задумана) совершенно сошла на нѣтъ; онъ самъ не выдержалъ разъ взятаго тона и изъ апологета превратился чуть-ли не въ сатирика. Онъ не осудилъ Молотова окончателно, но и не выдалъ ему монтеиновской преміи за мѣщанскую добродѣтель; и Писаревъ совершенно правъ, говоря, что для Гончарова Штольцъ есть идеалъ, о которомъ едва позволительно мечтать, а для Помяловскаго Молотовъ есть minimum, на которомъ едва ли позволительно останавливаться, а быть можетъ и совершенно непозволительно. Помяловскаго онъ не только не считаетъ апологетомъ мѣщанства, но, наоборотъ, видитъ въ немъ своего союзника и рѣшительнаго индивидуалиста: „...спасибо тебѣ, Помяловскій, за то, что ты сильнымъ и убѣдительнымъ твоимъ словомъ заступился рѣшительно за святыню человѣческой личности“...

Какъ бы то ни было, но фактъ налицо: пришествіе разночинца еще далеко не знаменовало собою окончательной побѣды русской интеллигенціи надъ мѣщанскими идеалами. Къ тому же, едва только „разночинецъ пришелъ“, какъ уже раздался тревожный восклицаніе: „идеть чумазы!“; идетъ сословно-экономическое мѣщанство во всеоружіи мѣщанства этического. Восклицаніе это принадлежалъ Салтыкову, и объ этомъ мы уже говорили; теперь же мы хотимъ отмѣтить романъ Писемскаго „Мѣщане“ (1877 г.), въ которомъ

дѣли, что Михайловскій отчетливо сознавалъ, что жизнь идетъ не по той дорогѣ, которую считало желательной народничество: Особый социально-экономическій путь развитія Россіи былъ для народничества желательной возможностью; но народники видѣли, что возможность эта „убываетъ, можно сказать, съ каждымъ днемъ. Практика урѣзываетъ ее безпощадно“... (см. выше, т. II, стр. 148). Восемьдесятые годы и были именно временемъ окончательной гибели утопій стараго народничества, эпохой разложенія общины, гибели артели, смерти кустарничества. И сами народники—въ этомъ была ихъ трагедія—воочию видѣли постепенное урѣзываніе жизнью ихъ идеаловъ. За мѣчательнѣйшій изъ представителей народничества въ художественной литературѣ, Глѣбъ Успенскій, явился яркимъ выразителемъ настроеній русской интеллигенціи, принужденной быть молчаливой свидѣтельницей разложенія своихъ завѣтныхъ идеаловъ. За этими настроеніями русской интеллигенціи и за этимъ разложеніемъ народническихъ идеаловъ мы прослѣдимъ именно по произведеніямъ Глѣба Успенскаго, который въ восьмидесятыхъ годахъ смѣло и открыто высказалъ то, въ чемъ боялось признаться самимъ себѣ большинство народниковъ.

Еще въ серединѣ семидесятыхъ годовъ Глѣба Успенскаго потянуло „къ источнику всяческой правды“, къ мужику. Онъ забрался въ деревню въ поискахъ за твердой точкой опоры, и первое, въ чемъ онъ убѣдился, это—въ разложеніи общины, или, по крайней мѣрѣ, въ рѣзкой дифференціаціи ея. Во время голода и неурожая, — разжываетъ Успенскій, — „въ однѣхъ и тѣхъ же деревняхъ люди умирали съ голоду, ѣли кору, пухли и т. д., и въ тѣхъ же самыхъ деревняхъ были люди, которые не умирали съ голоду, а, напротивъ, поправлялись и толстѣли...

— При общинномъ землевладѣніи? — съ негодованіемъ (какъ нѣтъ кажется) перебиваетъ меня воображаемый собесѣдникъ. И какъ нѣтъ ни трудно огорчить вопрошателя, но, скрѣпя сердце, я говорю:

— При общинномъ!.. Увы, при общинномъ землевладѣніи!

— Въ однѣхъ и тѣхъ же деревняхъ?

— Въ однѣхъ и тѣхъ же.

— А смертность?

— Точно то же и со смертностью; мрутъ больные, голодные, удородные, а отѣвѣшіея здоровы и невредимы! Одни мрутъ, какъ цухи, а другіе толстѣютъ, какъ борова“... („Старый бурмистръ“, 881—82 гг.; т. III¹).

¹) Цитаты по четвертому изд. собр. соч. Глѣба Успенскаго (1903).

Въ объясненіе этого факта Успенскій категорически заявляетъ, что „самого поверхностнаго взгляда на современную деревню достаточно для того, чтобы не подводить „подъ одно“ всѣхъ деревенскихъ жителей и всѣ деревенскія мнѣнія и желанія“... Онъ подчеркиваетъ, вопреки догматическому и славянофильствующему народничеству, что община есть прежде всего *экономическая*, а отнюдь не *этическая* концепція, и что нѣтъ ничего ошибочнѣе измѣрять первое вторымъ, какъ, однако, догматическіе народники поступаютъ сплошь и рядомъ: „правильность и точность межевыхъ отношеній переносятся въ отношенія нравственныя; равеніе средствъ къ жизни продолжается совершенно произвольно и въ сферѣ нравственныхъ отношеній“... „Деревенская жизнь — продолжаетъ Успенскій въ томъ же разсказѣ — вступаетъ въ совершенно *новый* фазисъ, становится въ совершенно *новыя* условія, подъ совершенно новыя вліянія и давленія, благодаря которымъ возникаютъ совершенно новыя явленія, явленія огромнаго разстройства всего организма, а вы... упорно не желаете вникнуть во всю глубину этого разстройства. Въ межевыхъ ямахъ и столбахъ... вы видите и спасеніе, и блестящее будущее, и прочее, и прочее. Но межевые столбы были всегда, во всѣ дни и годы русской жизни, а, *кромя нихъ*, чего-чего ни произошло въ этой жизни! И помѣшали ли сіи ямы какому бы то ни было самому злодѣйскому давленію? Помѣшали ли онѣ существенной изъ язвъ современной деревни, именно — *разрушенію однородности средствъ* къ существованію?...”

Итакъ, современная община базируется на экономическомъ, а отнюдь не на этическомъ фундаментѣ; это было подчеркнуто Успенскимъ еще въ его извѣстныхъ очеркахъ „Изъ деревенскаго дневника“ (1877—1878 гг.). Успенскаго поражало въ деревнѣ „почти полное *отсутствіе нравственной связи* между членами деревенской общины“... Онъ приводитъ цѣлый рядъ примѣровъ, „доказывающихъ полное одиночество крестьянской семьи“ и подчеркиваетъ, что „*крестьянская дума одинока. Въ томъ-то именно и заключается горе деревни*“ (VI, 78, 135 и др.). Произведенія Успенскаго такимъ образомъ какъ нельзя яснѣе подтверждаютъ, что община (какъ это утверждала русская юридическая наука и какъ это мы увидимъ въ слѣдующей главѣ) есть не что иное, какъ крѣпостная общая собственность, причемъ всѣ функціи общины были всецѣло подчинены фискальнымъ, административнымъ цѣлямъ: община административная губила общину поземельную (и губить ее до сей поры...). Успенскому не разъ приходилось слышать между общинниками разговоры

такого рода: „ну, старичокъ господній, силовъ у тебя нѣту, платить въ казну тебѣ не въ могу; приходится тебѣ, старичку пріятному, пожалуй что, и слѣзать съ земли-то... Такъ-то... потому молодыхъ ребятъ надуть на землю сажать, а тебѣ бы, старичку, тихимъ бы, напимѣрь, манеромъ, ежели говорить примѣрно, и помирать бы въ самый разъ... Такъ-то“... (VI, 181). Какая послѣ этого можетъ быть рѣчь объ этической основѣ общины! Добросовѣстному народнику остается только возмущаться такимъ ходомъ дѣла, недоумѣвать „отчего бы“ дѣлу не идти иначе, и мечтать о томъ, что было бы, „если бы“... *Этого* въ самомъ дѣлѣ не бываетъ, — заявляетъ Успенскій про призрѣніе старика или сироты въ общинѣ; — а отчего бы? Чего бы стоило ему быть? (VI, 110)... А вотъ „если бы“ въ деревню вошли посторонніе, болѣе опытные и знающіе люди, „которые сдѣлали бы «общинными» интересами не только одну землю“, то община воскресла бы для новой жизни (VI, 77—8)... И эту маниловскую мысль Успенскій повторяетъ не одинъ разъ; въ очеркѣ „Малые ребята“ (1880 г.) онъ категорически заявляетъ, что община навѣрное начнетъ жить «по худому» и погибнетъ, „если за помощь деревнѣ, «не знающей» всей сложности новыхъ условий жизни, не придетъ человекъ, знающій эти условія и не оборонить ее отъ бѣды“... (VII, 32). Кто таковъ этотъ Ерусланъ Лазаревичъ — Успенскій, конечно, не говоритъ читателю, ибо не знаетъ и самъ...

Въ попыткахъ найти точку опоры и Успенскій, и современный му талантливый народникъ-беллетристъ Златовратскій, и многіе другіе независимо другъ отъ друга совершили одинъ и тотъ же утъ; буквально тождественны и объекты ихъ самоутѣшенія. Все было бы спасено, если бы можно было приспособить къ дѣлу лучшей народъ — говорить, напимѣрь, Златовратскій; и Успенскій уже ждетъ спасенія отъ „знающаго человека“. Народники иногда робовали утѣшиться какимъ-нибудь частнымъ явленіемъ; въ этомъ же иногда бывалъ грѣшенъ и Успенскій, жадно хватаясь за какое-нибудь самомалѣйшее „отрадное“ явленіе. Напимѣрь: мірскимъ одомъ рѣшено нанять избу, для почевки „страннихъ людей“. „Отому же это пришло въ голову?“ — спрашиваетъ обрадованный „отдннымъ явленіемъ“ Успенскій. — „Коли меня обокрадутъ, да тебя обкрадутъ, да сожгутъ раза три всю деревню, такъ и придетъ въ гову“, — отвѣчаетъ крестьянинъ-собесѣдникъ нашему автору. И отъ исключительно шкурный поступокъ (не пусти „страннихъ дей“ совсѣмъ, такъ они, пожалуй, и не три раза сожгутъ деревню!) ищущій просвѣта Успенскій склоненъ счесть явно „отрад-

нымъ“ явленіемъ: „это новое, — думаетъ онъ, — этого не было; это не хозяйственное, а общественное, хоть капельку, но доброе. Тутъ есть ужъ вниманіе къ чужому горю, тоже капельное, но ужъ не только свое“... (VII, 166).

Все это утѣшаетъ себя Успенскій-публицистъ, а художникъ-Успенскій тутъ же безжалостно разрушаетъ всѣ иллюзіи своего alter ego. Правда, и какъ публицистъ Успенскій никогда не доходилъ до геркулесовыхъ столповъ идеализаціи кулачества, хотя и признавалъ сильныя стороны этого явленія. „...Въ кулачествѣ, — писалъ по этому поводу Успенскій — вы видите несомнѣнное присутствіе ума, дарованія, таланта,... для кулачества необходимо быть очень умнымъ и очень талантливымъ человѣкомъ“ (VII, 37); но именно это-то и всего ужаснѣе, ибо кулачество въ то же самое время есть злокачественная язва, „органической недугъ“ общины, а не наносное пятно, которое можно стереть. Это безстрашное признаніе показываетъ, что Успенскій не могъ успокоиться и на другихъ „утѣшеніяхъ“, которыя ему, художнику, подсовывалъ его alter ego, публицистъ. Только-что успѣвъ публицистъ порадоваться „отрадному“ явленію, обрисовывающему этическую подоплеку общины, какъ художникъ безпощадно вскрываетъ передъ нимъ мрачную картину разлагающейся общины (см. очеркъ „Богъ грѣхамъ терпитъ“, гл. IV—VII)... Только-что публицистъ займется маниловскими мечтаніями о „знающемъ человѣкѣ“, который-де „оборонитъ общину отъ бѣды“, какъ художникъ въ великолѣпномъ разказѣ („Овца безъ стада“, 1877 г.) выводитъ именно такого „знающаго“ (во всякомъ случаѣ болѣе „знающаго“, чѣмъ крестьянинъ) человѣка, который шелъ съ цѣлью оборонить общину отъ бѣды и слиться съ народомъ, а пришелъ только къ горькому выводу: „не сольешься съ вами, а сопнешься“ (VI, 200)... Таковъ чаемый и ожидаемый Ерусланъ Лазаревичъ на реальной почвѣ російской дѣйствительности...

Итакъ, мы должны отказаться отъ всякихъ радужныхъ надеждъ и утѣшеній; мы присутствуемъ при безнадежной попыткѣ отыскать подъ ногами точку опоры... Въ концѣ концовъ публицистъ ступивается передъ художникомъ, который въ яркихъ образахъ выясняетъ причину разложенія общины, причину распаденія прадрѣдовскихъ устоевъ... Эта причина—*шестое капитализма*. На эту тему у Успенскаго есть ненамѣренно-символистическая, яркая картина: по проселочнымъ дорогамъ крестьяне везутъ кулаку-купцу локомотивъ. „...Тысячепудовое чудовище, наконецъ, пріѣхало изъ Москвы на станцію желѣзной дороги, и, окруженное массою распясовскаго

народа, тронулось оживлять мертвую округу. Широко разинуло оно свою нелѣпую, желѣзную пасть, какъ бы грозясь поглотить всю эту благодать, которая открывалась передъ нею, всю эту рвань, которая копошилась вокругъ нея. Медленно и грозно двигается оно впередъ; то затрепещитъ и рухнетъ подъ нимъ гнилой мостъ, то застрянетъ оно на крутомъ подъемѣ;... то вдругъ, на крутомъ поворотѣ, когда разойдутся и лошади, и люди, и съ гиканьемъ мчатъ его впередъ, оно вдругъ свернется на бокъ и растянется на пашнѣ, раздавивъ подъ собою и дядю Егора, и дядю Пахома, да Микишку, да Андриюшку“ („Книжка чековъ“; II, 144). Таково пришествіе „грѣховодника-капитала“, по выраженію Успенскаго въ другомъ его произведеніи („Письма съ дороги“); по одному этому выраженію можно видѣть, что если Успенскій и вѣрно видитъ въ капитализмѣ причину разложенія народныхъ устоевъ эпохи натурального хозяйства, то въ то же время онъ склоненъ отнести къ этой причинѣ вполнѣ отрицательно. Достаточно вспомнить, съ какимъ восторгомъ перечисляетъ онъ въ этихъ своихъ „Письмахъ съ дороги“ всѣ препятствія, которыя сама природа западнаго побережья Кавказа ставитъ этому грѣховоднику-капиталу: и какой-то „трескунъ-камень“, затрудняющій проведеніе желѣзной дороги въ Новороссійскъ, и палящее солнце и главное препятствіе — новороссійскую бухту, подверженную дѣйствию вѣтровъ... Это ярко символизируетъ тайныя упованія многихъ народниковъ той эпохи, идеологомъ которыхъ былъ, какъ мы еще укажемъ въ слѣдующей главѣ, г. В. В., переписавшій въ своей книгѣ („Судьбы капитализма въ Россіи“, 1881—82 гг.) всѣ препятствія, которыя условія русской жизни ставятъ пришествію капитализма. Мы знаемъ теперь, что, говоря символически, ни трескунъ-камень, ни открытая бухта не помѣшали пришествію „грѣховодника-капитала“: желѣзная дорога благополучно проведена, а въ бухтѣ выстроены моль... И самъ Успенскій съ горечью сознается, что, несмотря на всѣ препятствія, грѣховодникъ-капиталь „пришель-таки и разинулъ пасть!..“ (X, 13).

Отрицательное отношеніе къ капитализму въ художественномъ народничествѣ объясняется, конечно, не только тѣмъ, что капитализмъ разрушалъ своимъ пришествіемъ общинные устои; основныя причины такого отношенія шли неизмѣримо дальше и въ ширь и въ глубь: съ одной стороны онѣ были *эстетическаго*, а съ другой — *неческаго* характера. О послѣднихъ мы поговоримъ ниже, а теперь остановимся на первыхъ, изложенію которыхъ посвящены два

замѣчательныхъ произведенія Успенскаго „Крестьянинъ и крестьянскій трудъ“ (1880 г.) и „Власть земли“ (1882 г.).

Въ своей автобіографіи Успенскій рассказываетъ, какъ „подлинная правда жизни“ повлекла его къ *источнику*, т.-е. къ мужику; „по несчастью, — прибавляетъ онъ, — я попалъ въ такія мѣста, гдѣ *источника* видно не было... Деньга привалила въ эти мѣста“... — и Успенскій воочию видѣлъ разложеніе исконныхъ устоевъ подъ вліяніемъ капитализма. Онъ видѣлъ, что подъ вліяніемъ капиталистическихъ отношеній деревня распадается на тѣ же три класса, о которыхъ въ это же самое время говорилъ и Златовратскій — на „пьяницъ“, „хозяйныхъ мужиковъ“ и „міроѣдовъ“ (конечно, Успенскій не употребляетъ этихъ терминовъ). „...Черезъ десять лѣтъ (много-много), — говоритъ Успенскій, — Ивану Ермолаевичу (типъ „хозяйственнаго“ мужика) и ему подобнымъ нельзя будетъ жить на свѣтѣ: они воспроизведутъ къ тому времени два новыя сословія, которыя будутъ тѣснить и напирать на «крестьянство» съ двухъ сторонъ: сверху будетъ насѣдать представитель третьяго сословія, а снизу тотъ же братъ мужикъ, но уже представитель четвертаго сословія“ (VIII, 15). Въ чемъ же лежитъ причина появленія этого четвертаго сословія? Успенскій пробуетъ утѣшить себя старой погудкой на новый ладъ, заявляя, что четвертое сословіе есть „продуктъ безсердечной общественной невнимательности — ничего болѣе (!)...“ Но тутъ же онъ чувствуетъ всю маниловщину подобнаго отвѣта и выясняетъ читателю, что причина эта лежитъ въ неуклонномъ шествіи впередъ такъ называемой „цивилизаци“... Идетъ цивилизація, идетъ капитализмъ и безпощадно разрушаетъ былую стройность общинныхъ отношеній, и красоту и цѣльность крестьянскаго труда; капитализмъ въ корнѣ подтачиваетъ всю *эстетику* земледѣльческихъ идеаловъ, великолѣпно вскрытую Успенскимъ въ его „Крестьянинъ и крестьянскомъ трудѣ“. Весь тысячелѣтній крестьянскій трудъ былъ бы толченіемъ воды въ ступѣ, если бы крестьянинъ не жилъ полной жизнью на груди матери-земли; фраза эта — о „жизни на груди природы“, о „единеніи съ природой“ — такъ избита и опошлена, что нужна нѣкоторая смѣлость для ея приложенія къ крестьянской жизни, — и однако она приложима къ ней болѣе чѣмъ къ чему бы то ни было другому. Крестьянинъ, съ одной стороны, живетъ въ полномъ подчиненіи „землѣ“, и, съ другой стороны, въ полномъ единеніи съ нею, сказывающемся въ пантеистическихъ или почти пантеистическихъ формахъ; всю внутреннюю осмысленность и цѣлостность этой жизни Успенскій и пытается вскрыть въ своемъ

поистинѣ блестящемъ, вышеупомянутомъ произведеніи и въ не менѣ знаменитой „Власти земли“. Въ своей автобіографіи Успенскій рассказываетъ, какъ въ медвѣжьемъ углу Новгородской губерніи, куда еще мало проникли вѣянія капиталистическихъ отношеній, онъ „въ первый разъ въ жизни увидѣлъ дѣйствительно одну подлинную важную черту въ основанъ жизни рускаго народа — именно власть земли“; эта черта объяснила ему всю стройность и цѣльность сизифовой крестьянской работы. Объяснить — значитъ оправдать; и дѣйствительно, съ новой своей точки зрѣнія Успенскій оправдалъ ту „темноту“ народа, которая была такъ на руку темнымъ силамъ абсолютизма и такъ враждебна интеллигенціи; такъ, напримѣръ, великолѣпно и остроумно вскрываетъ Успенскій связь идеи абсолютизма съ земледѣльческимъ трудомъ, слѣдствіемъ чего можетъ явиться только требованіе „не суйся!“, обращаемое народомъ къ интеллигенту народнику — не суйся между молотомъ и наковальней, между экономическими и политическими идеалами крестьянства... Конечно, Успенскій видитъ, что это трагическое для интеллигенціи требованіе совершенно неисполнимо и можетъ быть на руку только эпигонамъ славянофильства и славянофильствующимъ народникамъ; очевидно поэтому, что самъ онъ отнюдь не преклоняется предъ „властью земли“; онъ только объясняетъ этимъ принципомъ всѣ — и свѣтлыя и темныя — стороны крестьянскаго обихода. Наибольше свѣтлой стороной является эстетическая гармоничность, цѣльность и красота земледѣльческаго уклада жизни.

Но вотъ является капитализмъ. Конечно, и въ немъ есть свои свѣтлыя и темныя стороны; одной изъ наиболѣе темныхъ для Успенскаго является именно разрушеніе сельско-хозяйственной эстетики. „...Стройность сельско-хозяйственныхъ, земледѣльческихъ идеаловъ безпощадно разрушается такъ называемой цивилизаціей, — пишетъ Успенскій. — До освобожденія крестьянъ нашъ народъ не имѣлъ съ этой язвой никакого дѣла (конечно, Успенскій иронизируетъ, какъ видно изъ дальнѣйшаго); онъ стоялъ къ ней спиной, устремляя взоръ единственно на помѣщичій амбаръ, для наполненія котораго изощрялъ свою природную приспособительную способность. Теперь же, когда онъ, обернувшись къ амбару спиной, сталъ къ цивилизаціи лицомъ, дѣло его, его міросозерпаніе, общественныя и частныя отношенія — все это очутилось въ большой опасности. Ибо цивилизація эта, какъ кажется, имѣетъ единственной цѣлью стереть съ лица земли всѣ вышеупомянутыя земледѣльческіе идеалы“... Успенскій ставитъ вопросъ ребромъ: съ одной стороны земледѣльческіе

идеалы, съ другой — цивилизація; одно должно побѣдить другое, средняго выхода нѣтъ. Что дѣлать для сохраненія этихъ идеаловъ во всей красотѣ ихъ цѣльности? Средство только одно: цивилизація хочетъ „стереть съ лица земли“ всѣ эти идеалы? — ну, такъ надо „смести съ лица земли“ самоё цивилизацію во всѣхъ ея проявленіяхъ, начиная отъ керосиновой лампы и ситца и кончая книгопечатаніемъ и желѣзными дорогами... Самъ Успенскій называетъ такое пожеланіе „крайнимъ легкомысліемъ“ (давшимъ однако плодъ сторицею въ толстовствѣ 80-хъ годовъ); вся глубина этого, мягко выражаясь, „легкомыслія“ ясна уже изъ одного того, что и самъ Иванъ Ермолаевичъ отнюдь не желаетъ переходить отъ керосиновой лампы къ лучинѣ... „И выходитъ — поэтому — безнадежно заключаетъ Успенскій — для всякаго, что-нибудь думающаго о народѣ чловѣка задача, постигнѣ неразрѣшимая; цивилизація идетъ, а ты, наблюдатель русской жизни, мало того, что не можешь остановить этого шествія, но еще... не долженъ, не имѣешь ни права, ни резона соваться, въ виду того, что идеалы земледѣльческіе прекрасны и совершенны. И такъ — остановить шествіе *не можешь*, а соваться *не долженъ*“... (VIII, 33—5).

Конечно, не трудно разорвать этотъ заколдованный кругъ, и притомъ въ обоихъ пунктахъ. Остановить „шествіе цивилизаціи“ критическій народникъ, разумѣется, не только *не можетъ*, но и *не долженъ*; но онъ и можетъ и долженъ бороться за направленіе этого „шествія“ (въ этомъ былъ весь смыслъ происшедшихъ какъ-разъ въ то время народовольческихъ попытокъ „захвата власти“); съ другой стороны, онъ не только можетъ, но и долженъ „соваться“, ибо для него обязательны не мнѣнія, а интересы народа, котораго по пути безжалостно давитъ тяжелая колесница цивилизаціи. Но дѣло теперь не въ этомъ; интересно для насъ въ данномъ случаѣ только отрицательное отношеніе Успенскаго къ капитализму на основаніи мотивовъ чисто *эстетическаго* характера: капитализмъ губитъ красоту и цѣльность сельско-хозяйственныхъ идеаловъ.

Другая причина отрицательнаго отношенія къ капитализму, какъ мы уже отмѣтили выше, является основанной на *этической* почвѣ, или, вѣрнѣе, на этико-соціологической: капитализмъ губитъ цѣльность и гармоничность самой чловѣческой личности, обращая ее изъ цѣли въ средство. Эта точка зрѣнія на капитализмъ ярко очерчивается Успенскимъ въ одной притчѣ, которую онъ рассказываетъ словами какого-то стараго раскольника. „Лежало, изволишь ли

видѣть, тысячу лѣтъ, а можетъ и сто тысячъ лѣтъ ¹⁾, подъ землею, на необыкновенной глубинѣ, огромнѣйшее пространство желѣза. Лежало оно холодное, мертвое, недвижимое, ржавое; ...и лежало оно такимъ трупомъ бездыханнымъ несчетные вѣки-вѣковъ. А надъ нимъ, какъ надъ мертвецомъ, Господь насыпалъ огромные холмы и долины земли. На землѣ этой росла зеленая трава, яркіе цвѣточки, росли хлѣба, овсы, льны, лѣса дремучіе и стояли деревни, села и храмы Божіи. И жили въ этихъ деревняхъ мужики, бабы и ребята, жили своимъ трудомъ, своимъ домомъ, каждый былъ самъ себѣ хозяинъ. Такъ вотъ какъ было: подъ землей лежалъ желѣзный мертвецъ, трупъ бездыханный, а на землѣ жилъ живой человѣкъ... Лежитъ мертвое тѣло, живетъ живой человѣкъ "... Но тутъ-то и появился „нѣкоторый завистникъ“, — Капиталъ, — который и испортилъ всю эту идиллію: „...пришелъ, на людей не поглядѣлъ, Богу не помолился, а прямо носомъ-то своимъ въ землю воткнулся... Воткнулся и засверлилъ!.. И что же стало! Стало мертвое желѣзо разогрѣваться, стало теплѣть, мякнуть, потянулось, разогрѣлось — ожило!... ..Поднялось оно изъ-подъ земли и заиграло! И проволокой вокругъ всего свѣта обвилось, ...и побѣжало пароходами, вагонами, заиграло колесами на мельницахъ, на фабрикахъ, застучало станками... словомъ — разгулялось по всему бѣлу-свѣту и на всей своей волѣ!... А что же стало съ живымъ-то человѣкомъ?... Проволоки, колеса, винты, станки... вытащили его изъ своего дома, отняли его отъ хозяйства, приставили его холопомъ у винтовъ, у станковъ, при котлахъ и при печахъ!... Каждый прикованъ къ своему — ... и отойти ему нельзя! Какъ отошелъ — такъ и ѣсть нечего!... Какъ пересталъ у печки горѣть — умирай! А желѣзо-то гуляетъ по всему свѣту, со всѣмъ свѣтомъ разговариваетъ“ (V, 188).

Въ этой поэтической „притчѣ“ отмѣченъ совершенно вѣрный фактъ: капиталистическія отношенія дѣйствительно стремятся обратить человѣка изъ цѣли въ средство, превратить его въ „палецъ утѣ ногъ“ общественнаго организма. Фактъ отмѣченъ вѣрно, но вѣрно ли сдѣланы выводы изъ этого факта? Въ этомъ весь вопросъ. Апокрифическій раскольникъ строитъ на своей притчѣ такое же давно намъ знакомое заключеніе: надо воспользоваться положительными сторонами капиталистическаго производства и отка-
аться отъ принятія его отрицательныхъ сторонъ: „давай намъ косу,

¹⁾ Одна эта фраза ясно показываетъ апокрифичность существованія этого стараго раскольника“, за которымъ очевидно стоитъ самъ Успенскій...

борону, давай намъ швейную машину, давай косилку, прессь—все давай, чтобъ чловѣкъ жилъ дома, жилъ полнымъ порядкомъ, а въ машину его не преображай!“... Какъ видимъ, это уже слѣдующая ступень отношенія къ „цивилизаци“, по сравненію съ желаніемъ „смести съ лица“ земли всю эту цивилизацію со всѣми ея ситцами, желѣзными дорогами, керосиновыми лампами и книгопечатаніемъ... При полной невозможности выполненія такой радикальной мѣры оставалось попытаться исполнить рецептъ „старого раскольника“ и отдѣлать плевелы капитализма отъ пшеницы его... Но оказалось, какъ мы уже знаемъ (см. гл. III), что и эта вторая мѣра настолько же неудобноисполнима... Легко сказать: приѣмлю швейную машину, но отвергаю раздѣленіе труда; не мѣшало бы однако подумать нашему апокрифическому раскольникову: а кто же будетъ стоять при той машинѣ, которая будетъ дѣлать части приѣмлемой имъ машины? Здѣсь передъ нами дѣйствительно *circulus vitiosus*, разорвать который нѣтъ возможности; здѣсь коренная ошибка народничества, вѣрившаго въ возможность отдѣлать козлищъ и овецъ въ капитализмъ.

Но въ этой своей ошибкѣ художественное народничество оказывается безъ вины виноватымъ, или, вѣрнѣе, виновнымъ лишь постольку, поскольку публицистика брала въ немъ верхъ надъ художественностью. Художникъ-Успенскій трезво и безстрашно вскрывалъ самыя глубокія язвы современной дѣйствительности; но рядомъ съ нимъ работалъ и публицистъ-Успенскій, опиравшійся въ построеніи своихъ теорій на социологическую теорію прогресса Михайловскаго, громадное идейное вліяніе котораго на Успенскаго должно быть нами тщательно отмѣчено. Какъ бы ни относиться къ міровоззрѣнію Михайловскаго (а мы, какъ это уже извѣстно читателю, склонны цѣнить его очень высоко), во всякомъ случаѣ можно считать окончательно установленной ошибочность знаменитой „формулы прогресса“ Михайловскаго, взятой въ ея цѣломъ (см. объ этомъ выше, т. II, стр. 198). Но именно эту формулу, и именно въ ея цѣломъ клалъ въ основу всѣхъ своихъ теоретическихъ взглядовъ Успенскій ¹⁾; по его мнѣнію, формула прогресса Михайловскаго „окончательно рѣшаетъ вопросъ какъ о томъ, что вообще нравственно, разумно, справедливо, такъ и о томъ, что такое Россія, Европа, народъ и цивилизація“. Эту формулу, считающую прогрес-

¹⁾ Формулу эту — писалъ Успенскій — „нельзя, будучи справедливымъ, не признавать за вполне справедливую“ (IX, 56)...

сивнымъ наименьшее экономическое раздѣленіе труда при наибольшемъ физиологическомъ, Успенскій, опираясь на авторитетъ Л. Толстого, видѣлъ осуществленной „къ нашему, т.-е русскому огромному счастью... въ глубинахъ нашихъ народныхъ массъ“ (IX, 43—4). Отсюда та идеализація *типа* развитія русской общинной жизни, которая безъ труда могла перейти въ идеализацію и *степени* ея развитія; но ни теоретикъ Михайловскій, ни художникъ Успенскій не были повинны въ этомъ грѣхѣ. Такъ, напримѣръ, въ разсказѣ Успенскаго „Овца безъ стада“ (1877 г.) мы встрѣчаемся съ яркой попыткой такой проповѣди — съ теоретической идеализаціей мужицкой жизни; но тутъ же Успенскій-художникъ съ еще большею яркостью вскрываетъ всю беспочвенность и теоретичность такихъ ультра-народническихъ попытокъ. Вообще отъ догматическаго народничества Успенскаго-художника отдѣляла цѣлая пропасть. Мы видѣли выше, что Успенскій твердо отстаивалъ положеніе о стройности, гармоничности и красотѣ формъ народной жизни; но онъ же первый подчеркнул ту еретическую для народниковъ-догматиковъ мысль, что въ созданіи этихъ формъ нѣтъ никакой заслуги русскаго народа... Въ очеркахъ „Изъ разговоровъ съ пріятелями“ (на тему о «власти земли»)“ (1883 г.) онъ съ безпощадной логичностью проводитъ эту мысль устами своего alter ego, нѣкоего Протасова-Пигасова (см. первый изъ этихъ великолѣпныхъ очерковъ — „Безъ своей воли“). Пигасовъ, къ великому негодованію правобѣрнаго народника Березникова, проводитъ теорію строенія формъ народной жизни *самопроизвольно*, безъ участія народнаго ума или воли: это своего рода органическій процессъ. Вѣдь и всякая галка, если разсмотрѣть ея организацію, „удивительно ловко и умно устроена“, но вѣдь не приписываемъ же мы эту организацію уму или волѣ самой этой галки?.. Въ отвѣтъ на это негодующій Березниковъ съ жаромъ описываетъ рыболовную ильменскую артель, дошедшую „своимъ умомъ“ даже до астрономіи, до изученія вѣтровъ и т. п. для оріентировки по озеру... „Откуда все это произошло?— побѣдоносно вопрошаетъ Березниковъ:—...кѣмъ или чѣмъ все это организовано? Народнымъ умомъ, или... ну, чѣмъ?..

Пигасовъ молча выслушалъ этотъ вопросъ и какъ-то нехотя проговорилъ:

— Да тамъ у васъ какую рыбу ловятъ?

— У насъ? У насъ тамъ ловятъ сига... ни болѣе, ни менѣе!

— Ну, такъ все это и произведено, — спокойно отвѣчалъ

Пигасовъ, — не умоумъ, а... сигомъ!..“ Ибо: „позвольте мнѣ спросить васъ, въ свою очередь, что было бы съ вашей артелью, если бы сиви вдругъ исчезли?... Вѣроятно не было бы и артели, не было бы ни вашей астрономіи, ни вашихъ теорій вѣтра“ (VIII, 139—144)... Конечно, это только остроумный парадоксъ; но не характерно ли, что ярый народникъ Березниковъ, съ разрѣшенія автора, бесильно складываетъ оружіе въ попыткѣ „опровергнуть“ этотъ парадоксъ?..

Итакъ, каковы бы ни были теоретическія обоснованія Успенскаго, но художникъ въ немъ всегда бралъ верхъ надъ публицистомъ. Художникъ этотъ яркими образами нарисовалъ картину разложенія земледѣльческихъ идеаловъ и ясно указалъ на причины такого разложенія. Онъ неоспоримыми наблюденіями подтвердилъ, что современная русская община есть не этическая, а экономическая концепція, что поэтому социальное-экономическая дифференціация неизбежно вторгается въ деревню, и что „разрушеніе однородности средствъ къ существованію“ въ общинѣ сопутствуетъ „отсутствію нравственной связи“ между членами этой общины. Всѣ поиски „отрадныхъ“ явленій оказываются тщетными, равно какъ и всѣ упованія на то, что придетъ „знающій“ человекъ и оборонитъ общину отъ бѣды... Никакой „знающій“ человекъ не можетъ, признаетъ самъ Успенскій, задержать „шествіе цивилизаціи“ и „грѣховодника-капитала“; каково бы ни было эстетическое и этико-соціологическое отрицательное вліяніе капитализма—не во власти „знающаго“ человека измѣнить направленіе его движенія. Когда знающій человекъ видитъ, что жизнь ставитъ передъ нимъ роковую дилемму—капитализмъ или красота и справедливость общинныхъ идеаловъ?—то онъ долженъ признать, что всѣ шансы на побѣду за первымъ. Попытка же и капиталъ пріобрѣсти и красоту общинныхъ идеаловъ соблюсти, при помощи отверженія отрицательныхъ сторонъ капитализма и принятія его положительныхъ сторонъ—еще болѣе неосуществима, ибо связь между этими сторонами капитализма является органической и неразрывной. Однако есть еще и третья возможность, незамѣченная ни художественнымъ, ни теоретическимъ народничествомъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ и выяснившаяся только къ исходу XIX-го столѣтія: это признаніе одновременной возможности и экономического и фізіологического раздѣленія труда, т.-е. признаніе капитализма, и одновременная политическая борьба, для осуществленія попытки реформы общиннаго строя и сочетанія эволюціонировавшихъ общинныхъ идеаловъ

съ капиталистическимъ строемъ... Но въ восьмидесятыхъ годахъ этой возможности не чувствовалъ Успенскій, не видѣлъ ея и Михайловскій, народничество не видѣло ни въ чемъ выхода и съ тяжелымъ сердцемъ смотрѣло на разложеніе своихъ завѣтныхъ идеаловъ и на торжество идеаловъ сословно-мѣщанскихъ, буржуазныхъ, при одновременномъ махровомъ расцвѣтѣ идеаловъ этического мѣщанства и основоположеній самодовольной и откровенной адуевщины. Съ этой эпохой общественнаго мѣщанства намъ теперь и предстоитъ познакомиться.

Эпоха общественнаго мѣщанства была, сказали мы, возвращеніемъ къ адуевскимъ идеаламъ. И для такого возвращенія русскому „культурному“ обществу не пришлось дѣлать головоломнаго прыжка на тридцать лѣтъ назадъ: мѣщанскіе идеалы продолжали мирно процвѣтать подъ сѣнью шестидесятыхъ и даже семидесятыхъ годовъ; въ восьмидесятыхъ—они только распустились махровымъ цвѣтомъ. Мы бѣгло прослѣдимъ за этой преемственной связью мѣщанства послѣ Адуева и Штольца, т.-е послѣ окончанія эпохи мѣщанства оффиціального.

Разночинецъ, пришедшій въ шестидесятыхъ годахъ, могъ отнестись только съ рѣзкимъ осужденіемъ къ добродѣтельному мѣщанству героевъ Гончарова (такъ къ нимъ и отнесся Добролюбовъ); это осужденіе было не вполне искреннимъ. Вспомнимъ, какъ завидовалъ Добролюбовъ „мѣщанскому счастью“ окружавшей его среды, какъ онъ иногда старался быть „какъ всѣ“ (см. его письма и дневникъ). Разночинецъ долженъ былъ бороться съ тѣми заманчивыми перспективами, которыя рисовались ему идеологами мѣщанства; изъ борьбы этой онъ чаще всего выходилъ побѣдителемъ, но иногда сильно помятый. Исторію такой борьбы рассказалъ намъ Помяловскій въ двухъ своихъ романахъ („Мѣщанское счастье“ и „Молотовъ“, 1861 г.).

Егоръ Ивановичъ Молотовъ, герой обоихъ романовъ Помяловскаго, — типичный разночинецъ, съ тоскою спрашивающій себя: гдѣ тѣ липы, подъ которыми прошло мое дѣтство? Нѣтъ тѣхъ ипъ, да и не было никогда... Вотъ первая заманка мѣщанства — создать эти „липы“, если не для себя, то для своихъ дѣтей; въ Молотовѣ долго боролись задатки типичнаго разночинца, ненавидящаго мѣщанство, со стремленіемъ создать себѣ свои „липы“. У него есть другъ Негодящевъ—предсказанный Помяловскимъ типъ восьмидесятника *rig sang*; принципы Негодящева превосхищаютъ а четверть вѣка смыслъ всей философіи восьмидесятыхъ годовъ:

„можно читать Фауста и служить очень порядочно... Прочь вопросы! Ихъ жизнь разрѣшить, только бери ее такъ, какъ она есть: ...безъ смысла жизнь—живи безъ смысла; худо жить—живи худо“... Надъ этой философіей Молотовъ зло пронизируетъ: „вотъ чиновные принципы, возведенные къ вѣчнымъ началамъ разума!.. трансцендентальное чиновничество!.. Фаустъ въ виць-мундирѣ, Гамлетъ въ канцеляріи его превосходительства!“ Въ немъ вспыхиваетъ ненависть къ мѣщанству; онъ дорого цѣнитъ свою личность, онъ не согласенъ жить безъ смысла и жить худо, онъ ищетъ смысла и широты въ жизни: „мое призваніе—жить... всей душой, всѣми порами тѣла жить хочу!“ Но это только внезапная вспышка: черезъ день онъ уже тоскуетъ и колеблется — какъ жить? какъ жить такъ, чтобы „...не старую, отцами переданную жизнь продолжать, а создать свою... Выдумать ее, что ли?.. сочинить?.. у умныхъ людей спросить?..“ А еще черезъ день онъ уѣзжаетъ къ Негодящеву, чтобы начать тянуть чиновничью лямку. (Помяловскій; Сочиненія, „Мѣщанское счастье“, стр. 27, 35, 104—107, 119 и др.). Мы его встрѣчаемъ только черезъ много лѣтъ, и передъ нами во всей своей красѣ либеральный чиновникъ, почти вполнѣ забывшій былые свои запросы и завязнувшій въ мѣщанскомъ болотѣ. Онъ не прочь порисоваться своимъ происхожденіемъ, способенъ признавать „хорошія слова“—трудъ, честь, талантъ и т. п. (его товарищъ Череванинъ называетъ ихъ „пустыми словами“); онъ готовъ признать, что „чиновничество—какой-то огромный резервуаръ, поглощающій силы народныя“; у него иногда является „страстное желаніе сдѣлать всѣхъ людей счастливыми“—и онъ, конечно, во всемъ этомъ искрененъ, но не идетъ дальше фразы. Это сближаетъ его съ лишними людьми, а отличаетъ отъ нихъ его то, что онъ стоитъ гораздо ближе къ мѣщанству. Онъ самъ сознается: „честная чичиковщина настала, и вотъ сознаю, что я тоже приобретатель... Отвѣдавъ вольнаго труда, я нашелъ что департаментъ вѣрнѣе обезпечиваетъ чело-вѣка“... Онъ совсѣмъ какъ дядюшка Адуевъ продалъ себя безъ остатка комфорту; съ чисто мѣщанскимъ самодовольствомъ описываетъ онъ свою квартиру: „на стѣнахъ картины и канделябры, на окнахъ пальма, золотое дерево, фіга, лимонъ, кактусъ и плющъ, на столахъ вазы, на полу коверъ, предъ каминомъ дорогой рѣзбы орѣховое дерево... Положенное число разъ я бываю въ русскомъ театрѣ и въ итальянской оперѣ“... Вотъ онъ, мѣщанскій идеаль; лимонъ и кактусъ на окнахъ и положенное число посѣщеній театра! Это тотъ самый идеаль, при взглядѣ на который, по словамъ По-

мяловскаго, человѣку съ большими запросами отъ жизни думается: „о, Господи, не накажи меня подобнымъ счастьемъ, не допусти меня успокоиться въ томъ мирномъ, безмятежномъ пристанищѣ, гдѣ совершается такая жизнь“. И ты счастливъ?—спрашиваетъ Молотова его невѣста Надя, симпатичная, ищущая натура, съ задатками болѣе глубокими и съ запросами болѣе широкими, чѣмъ на какіе можетъ отвѣтить Молотовъ (ихъ взаимоотношеніе приблизительно таково же, какъ между Ольгой и Штольцемъ). Но Молотовъ не настолько мѣщанинъ, какъ Штольцъ! онъ хотя и пытается оправдать свое мѣщанство, но все-таки сознается, что ему приходится испытывать тоску: „экое дѣло, думалось мнѣ, что я честенъ, не пью водки и въ квартирѣ у меня хорошо!.. Что въ томъ толку?.. Куда пошли мои силы?.. На брюхо свое, на добываніе насущнаго хлѣба!.. Благонравная чичиковщина!.. Скучно!.. Чортъ бы побралъ, думалъ я, мое мѣщанское счастье!..“ Но все это говорится въ прошедшемъ времени; въ настоящемъ же Молотовъ оправдываетъ себя тѣмъ (и оправданіе это хуже всякаго обвинительнаго приговора), что онъ средній человѣкъ, человѣкъ толпы: „неужели запрещено устроить простое, мѣщанское счастье?.. Надя, милліоны живутъ съ единственнымъ призваніемъ—честно наслаждаться жизнью... Мы простые люди, люди толпы. Ты согласишься на это?“ И бѣдной дѣвушкѣ, которая ждала и достойна была лучшаго, приходится отвѣтить съ ясно просвѣчивающей грустью передъ разрушенными мечтами и иллюзіями: „я... твоя вѣдь!“ И этимъ Помяловскій оканчиваетъ свою повѣсть, справедливо и съ горечью отмѣчая отъ себя: „тутъ и конецъ мѣщанскому счастью. Эхъ, господа, что-то скучно!..“ Этими же почти словами закончилъ Гоголь рассказъ о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ; да и въ самомъ дѣлѣ, развѣ есть рѣзкая граница между мѣщанскимъ счастьемъ Молотова и растительнымъ счастьемъ гоголевскихъ героевъ? Главная разница въ томъ, что Молотовъ представляетъ изъ себя нѣчто среднее пропорціональное между мѣщаниномъ и лишнимъ человѣкомъ; отъ лишняго человѣка его отдѣляетъ мѣщанство, отъ мѣщанства—сознаніе, что онъ мѣщанинъ. Въ немъ олицетворилось невольное и безсознательное влеченіе нѣкоторой части разночинцевъ къ мѣщанству и въ то же самое время сознаніе всѣхъ отрицательныхъ сторонъ этого мѣщанства. Помяловскій, самъ разночинецъ, относился къ своему герою съ достаточной симпатіей въ первой повѣсти, и не скрывалъ своего ироническаго отношенія къ нему во второмъ романѣ, гдѣ Молотовъ сталъ ближе къ мѣщанству. И

если на типъ Молотова мы знакомимся съ небольшою частью разночинцевъ, сохранившихъ свои симпатіи къ мѣщанству, то въ Помяловскомъ мы видимъ разночинца шестидесятихъ годовъ, относящагося къ мѣщанству болѣе чѣмъ съ ненавистью. Художникъ Череванинъ, со своей философіей „кладбищенства“, появляющийся въ „Молотовѣ“ — alter ego Помяловскаго; онъ такъ кладбищенствуетъ о мѣщанахъ: „у этихъ людей ничего нѣтъ своего, нѣтъ нравственной собственности. Все это ходячее повтореніе и подражаніе... Что бы ни дѣлали эти люди: смотря ли они на закатъ солнца, ѣдятъ ли горячія щи, Богу ли молятся или хоронятъ отца, — и мысль, и слово, и смѣхъ, и слезы — все у нихъ получено по наслѣдству; и добродѣтели у нихъ не свои, и пороки не свои, и умъ чужой. Что же ты такое, эй ты, честный человѣкъ? Гдѣ твоя личность, индивидуальность, гдѣ твой талантъ, прибавилъ ли ты хоть грошь къ нему?“ Конечно не прибавилъ, такъ какъ мѣщанинъ не имѣетъ своей индивидуальности (Помяловскій; Сочиненія, „Молотовъ“, стр. 157, 192, 255, 295—300 и др.).

Мы уже встрѣчались съ кладбищенствомъ Череванина; теперь же отмѣчаемъ то обстоятельство, что задуманная Помяловскимъ апологія мѣщанства (если она была имъ задумана) совершенно сошла на нѣтъ; онъ самъ не выдержалъ разъ взятаго тона и изъ апологета превратился чуть-ли не въ сатирика. Онъ не осудилъ Молотова окончательно, но и не выдалъ ему монтионовской преміи за мѣщанскую добродѣтель; и Писаревъ совершенно правъ, говоря, что для Гончарова Штольцъ есть идеаль, о которомъ едва позволительно мечтать, а для Помяловскаго Молотовъ есть minimum, на которомъ едва ли позволительно останавливаться, а быть можетъ и совершенно непозволительно. Помяловскаго онъ не только не считаетъ апологетомъ мѣщанства, но, наоборотъ, видитъ въ немъ своего союзника и рѣшительнаго индивидуалиста: „...спасибо тебѣ, Помяловскій, за то, что ты сильнымъ и убѣдительнымъ твоимъ словомъ заступился рѣшительно за святую человѣческую личность“...

Какъ бы то ни было, но фактъ налицо: пришествіе разночинца еще далеко не знаменовало собою окончательной побѣды русской интеллигенціи надъ мѣщанскими идеалами. Къ тому же, едва только „разночинецъ пришелъ“, какъ уже раздался тревожный возгласъ: „идеть чумазый!“, идетъ сословно-экономическое мѣщанство во всеоружіи мѣщанства этического. Возгласъ этотъ принадлежалъ Салтыкову, и объ этомъ мы уже говорили; теперь же мы хотимъ отмѣтить романъ Писемскаго „Мѣщане“ (1877 г.), въ которомъ

подробно живописуется пришествіе этого сословно-этического мѣщанства. Впрочемъ, терминъ „мѣщанство“ Писемскій понимаетъ исключительно въ сословно-экономическомъ смыслѣ; мѣщане—это „продуктъ капитала, самой пагубной силы настоящаго времени; существовавшее рыцарство, по своему деспотизму, ничто въ сравненіи съ капиталомъ“ (стр. 104; Собр. соч., изд. 2-ое). И такое мѣщанство повсюду ломится въ двери: „все сплошь и кругомъ превращается въ мѣщанство“ (Ibid., 29); чумазый идетъ. И плодами наукъ, искусствъ, творчества человѣческаго генія пользуются теперь почти всецѣло мѣщане, „торгашъ, ремесленникъ, дрянъ разная, шваль—и однако они теперь герои дня!“ (Ibid., 31); это болѣе всего возмущаетъ главнаго героя романа, блещущаго всѣми добродѣтелями Бѣгушева (alias Бѣлавина, изъ „Тысячи душъ“, alias генерала Коптина изъ „Людей сороковыхъ годовъ“). Но этотъ добродѣтельный герой нигдѣ не задается вопросомъ объ основныхъ признакахъ мѣщанства; его въ сущности нисколько не возмущаетъ мѣщанство этическое, онъ только мечетъ громы противъ сословнаго мѣщанства и требуетъ Бога на землю, чтобы дать новое содержаніе жизни. Вотъ одинъ діалогъ:

— „И работникъ, по-твоему, превратится въ такого же мѣщанина, какъ и хозяинъ? (спрашиваетъ Бѣгушевъ).

— Непремѣнно (отвѣчаетъ Тюменевъ, сановный либералъ романа), но того только и желать надобно...

— Ну, вѣтъ!.. вѣтъ!..—заговорилъ Бѣгушевъ, замотавъ головой и какимъ-то трагическимъ голосомъ;—пусть лучше сойдетъ на землю огненный дождь, потопъ, лопнетъ кора земная, но я этой журицы во щакъ, о которой мечталъ Генрихъ IV, міру не желаю.

— Но чего же ты именно желаешь, любопытно знать?—скалъ Тюменевъ.

— Бога на землю!—воскликнулъ Бѣгушевъ“ (Ibid., 32). Бѣгушевъ, очевидно, ненавидитъ сословно-экономическое мѣщанство за злость и скудость его духовной жизни, за отсутствіе свѣтлой и иждущей идеи; мы сейчасъ увидимъ такъ ли это, а пока мимоходомъ замѣтимъ, что подъ Бѣгушевымъ (отчасти также и подъ Александромъ Ивановичемъ Коптинымъ въ „Людяхъ сороковыхъ годовъ“) овольно ясно виденъ Герценъ послѣдняго періода жизни. Таковы, апримѣръ, характерныя черты Бѣгушева: его вѣра въ Европу, азочарованіе 1848 годомъ, послѣдующій скептицизмъ, мысль, что въ Европѣ „все мало-по-малу превращается въ мѣщанство“; наконецъ, даже знаменитое предсказаніе Герценомъ Франко-Прусской

войны („теперь, графъ Бисмаркъ, — ваше дѣло!“) почти буквально повторяется въ одной фразѣ Бѣгушева („...показывается каска Бисмарка...“; см. все это *Ibid.*, 93—95). Все это достаточно очевидно, но не менѣе очевидно и то, что Писемскій далъ не копию, а пародію Герцена, такъ какъ совершенно былъ не въ силахъ понять, что Герценъ осуждалъ мѣщанство отнюдь не только съ сословно-экономической точки зрѣнія, т.-е. не только понимая подъ нимъ буржуазію. Его Бѣгушевъ — самъ жалкій мѣщанинъ, и къ чему сводится его требованіе „Бога на землю“ достаточно ясно изъ одной центральной сцены романа, которая убѣдительно показываетъ, съ какой скудостью мысли Писемскій понималъ „мѣщанство“. Послѣ званого обѣда у одного изъ разбогатѣвшихъ мѣщанъ, полковника Янсутскаго, Бѣгушевъ заказываетъ ужинъ у себя дома, чтобы показать „какъ нужно ѣсть“... Онъ съ паѳосомъ объясняетъ всѣ достоинства пулярды съ трюфелями, масседуана и краснаго вина, по сравненію ихъ съ тѣми, какіе были у „мѣщанина“ Янсутскаго. „Мѣщане!... Они никогда не будутъ порядочно ѣсть“ — заключаетъ онъ съ полнымъ сознаніемъ своего превосходства... (*Ibid.*, 104).

Не довольно ли, читатель? Намъ кажется, что вполне довольно для того, чтобы вывести заключеніе о полнѣйшемъ мѣщанствѣ и Писемскаго, и его героя: достаточно одного послѣдняго гастрономическаго критерія мѣщанства... Мы не остановились бы такъ подробно на романѣ Писемскаго, если бы онъ не иллюстрировалъ собою — все-таки въ общемъ вѣрно — народженіе новаго, сословно-экономическаго мѣщанства. Кромѣ того, весь этотъ эпизодъ рѣзко очерчиваетъ границы между понятіями экономическаго и этического мѣщанства, т.-е. между буржуазіей и * мѣщанствомъ въ широкомъ смыслѣ: мы здѣсь видѣли еще разъ, что можно быть ожесточеннымъ противникомъ буржуазіи и въ то же время быть съ головы до ногъ мѣщаниномъ. Нарождающаяся буржуазія, правда, стала сугубо-мѣщанскою, но отсюда еще далеко до заключенія, что каждый врагъ буржуазіи тѣмъ самымъ уже анти-мѣщанинъ. А затѣмъ, послѣ такого разъясненія можно оставить анти-буржуа, но мѣщанина Бѣгушева-Писемскаго въ покоѣ и перейти къ болѣе интересному для насъ роману Тургенева, „Новь“ (1877 г.), въ которомъ мы снова встрѣтимся съ этическимъ мѣщанствомъ.

Уже третій разъ мы возвращаемся къ Тургеневу, изучая смѣну идеологій русской интеллигенціи отъ сороковыхъ до восьмидесятыхъ годовъ, — одно это показываетъ, какъ чутко относился талантливый художникъ къ окружавшей его жизни. Мы знаемъ какъ онъ отно-

сился къ мѣщанству, какъ подчеркивалъ отрицательныя стороны его въ своихъ типахъ лишнихъ людей, съ какой симпатіей онъ раздѣлялъ индивидуалистическіе взгляды своего Базарова; тѣмъ характернѣе его выступленіе на путь бессознательнаго апологета мѣщанства въ концѣ семидесятыхъ годовъ. То мертвое, сухое, размѣренное мѣщанство, которое было такъ по душѣ Гончарову, всегда претило Тургеневу; онъ сталъ апологетомъ другого типа мѣщанства, мѣщанства еще находящагося какъ бы въ потенциальномъ состояніи. Въ своемъ „Затишьи“ (1854 г.) онъ рѣзко высмѣялъ разсудительнаго и приличнаго мѣщанина Астахова, безапелляціонно заявляющаго, что „въ наше положительное время всякій порядочный человекъ *долженъ* быть положительнымъ и аккуратнымъ“... (VI, 87; см. 75 — 76 и др.); въ своей „Несчастной“ (1868 г.) онъ еще ядовитѣе обрисовываетъ плоскаго мѣщанина Фустова, съ его девизомъ „не забывай себя, не волнуйся, умѣренно трудись!“ (VII, 200, 201, 277, 284). Такихъ мѣщанъ Тургеневъ не терпѣлъ; самое существованіе такого мѣщанства онъ могъ объяснить только безволіемъ и дряблостью толпы лишнихъ людей; „жизнь дуракамъ между трусами“, говорилъ онъ (по другому поводу), точно также жизнь мѣщанамъ между лишними людьми.

Но вотъ настали семидесятые годы, героизмъ которыхъ былъ въ общемъ не по душѣ Тургеневу; къ тому же онъ чутко уловилъ вѣяніе лавризма, вѣяніе новой струи, въ которой онъ и не подозревалъ наличности мѣщанства, и которая была ему глубоко симпатична, такъ какъ онъ видѣлъ въ ней рожденіе новаго теченія въ противовѣсъ героизму, теченія честнаго, трезваго, не утопическаго. Онъ написалъ тогда свой послѣдній романъ — „Новъ“ (1877 г.).

Еще гораздо раньше, а именно въ романѣ „Наканунъ“ (1859 г.), Тургеневъ полу-сочувственно отнесся къ двумъ-тремъ типамъ, не лишенымъ явныхъ элементовъ мѣщанства. Таковъ у него „сочувственникъ“ Берсенева, этотъ „добросовѣстно-умѣренный энтузіастъ, истый представитель тѣхъ жрецовъ науки, которыми, — нѣтъ, не которыми, — *коиими* столь справедливо гордится классъ средняго русскаго дворянства“, по мѣткому опредѣленію шалопая Шубина; таковъ у него отчасти и манекенный Инсаровъ, сухая, безцвѣтная, но громадная и умѣло направленная сила (II, 241 и 274). Въ „Нови“ Тургеневъ пожелалъ придать Инсарову тѣло и душу и идеализировать эту реальную фигуру; въ результатѣ получился своеобразный *homunculus*, революціонный постепеновецъ, представитель тического мѣщанства — Соломинъ.

Соломинъ — главный герой послѣдняго тургеневскаго романа, положительный типъ; стоящій на первомъ планѣ лишній человекъ Неждановъ, пытающійся „ходить въ народъ“, еще болѣе отгвѣняетъ своимъ безсиліемъ и шатаніемъ мысли всѣ положительныя стороны излюбленнаго героя Тургенева. И Тургеневъ не видитъ, что его герой — чистой крови мѣщанинъ, не менѣе ясный и опредѣленный, чѣмъ разные Астаховы, Фустовы и tutti quanti! Несомнѣнно, что Тургеневу и въ голову не приходило этимъ своимъ романомъ реабилитировать мѣщанство; напротивъ, онъ попрежнему осуждаетъ явную мѣщанскую узость революціонера Маркелова и съ слишкомъ очевиднымъ презрѣніемъ осмѣиваетъ мѣщанство тайнаго совѣтника, камергера и будущаго министра Сицягина (IV, 26, 290 и др.), такъ что всѣмъ мѣщанскимъ сестрамъ достается по серьгамъ. Идеализация Соломина не есть апологія мѣщанства, это просто несчастная aberrация зрѣнія, ошибка Тургенева, не умѣвшаго предвидѣть ходъ развитія русской интеллигенціи въ восьмидесятыхъ годахъ, на рубежѣ которыхъ онъ умеръ. Его Соломинъ — типичный восьмидесятникъ по типу и по духу, яркій представитель возрождающагося мѣщанства, родственникъ всѣхъ Штольцевъ и Адуевыхъ. Правда, онъ революціонеръ, но революціонерство его такое мягкое, такое неуловимое, что вполне логично вырождается на глазахъ читателя въ постепеновство. „Это — не герои, — заявляетъ устами Паклина Тургеневъ, — это — крѣпкіе, сѣрые, одноцвѣтные, народные люди. Теперь только такихъ и нужно!“ (IV, 296—297). Это не апологія мѣщанства, но удивительная близорукость Тургенева... Чѣмъ же проявляетъ себя этотъ народный герой? Онъ завелъ школу и больницу при фабрикѣ (IV, 111) и устроилъ въ Перми заводъ на артельныхъ началахъ (IV, 293) — больше онъ ничѣмъ не проявляетъ себя... Кромѣ того онъ обладаетъ еще слѣдующими достоинствами: говорить дѣльно, вѣско, коротко, обладаетъ вполне безличной внѣшностью, проповѣдуетъ теорію постепеновства; вообще „уравновѣшенный характеръ“ (IV, 109, 107, 179, 142, 219, 158 и др.). Быть можетъ, нигдѣ такъ ясно не сказывается его сугубое мѣщанство, какъ въ единственномъ его принципиальномъ разговорѣ съ Маріанной, такъ напоминающемъ знакомыя намъ уговариванія Ольги Штольцемъ. Маріанну, также какъ Ольгу, душитъ жизнь, она ищетъ ея смысла, цѣли; Соломинъ, также какъ Штольць, виляетъ вокругъ да около вопроса, не умѣя развязать его узелъ. Конечно, его мѣщанство и мѣщанство Штольца не вполне тождественны: Штольць проповѣдывалъ покорность передъ жизнью, Соломинъ рекомендуетъ

постепеновство, но эти два пункта не такъ ужъ далеко отстоятъ другъ отъ друга. Маріанна ищетъ смысла и цѣли жизни, ищетъ цѣльнаго міровоззрѣнія, а Соломинъ допекаетъ ее своей дѣльной, вѣской, но отнюдь не короткой рѣчью; „...вотъ вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите; и трудно вамъ это будетъ, потому что не легко понимаетъ Лукерья, и васъ чуждается...; а ведѣли черезъ двѣ или три вы съ другой Лукерьей помучитесь; а пока—ребеночка вы поможете, или азбуку ему покажете, или больному лѣкарство дадите... Вы будете чумичкой горшки мыть, щипать курь... А тамъ, кто знаетъ, можетъ быть, спасете отечество!“ (IV, 219 — 220). И этотъ самодовольный и туповатый проповѣдникъ — главный герой Тургенева и русской интеллигенціи! И эта проповѣдь малыхъ дѣлъ оказывается основной частью міровоззрѣнія!

Подробнѣе знакомиться съ Соломинымъ намъ не къ чему, такъ какъ насъ онъ интересуеетъ не самъ по себѣ, а какъ предтеча людей восьмидесятыхъ годовъ; мы хотѣли показать только, что тусклое и сѣрое настроеніе, ознаменовавшее восьмидесятые годы, надвигалось на русское общество мало-по-малу еще съ шестидесятыхъ-семидесятыхъ годовъ. Многіе предчувствовали это грядущее бѣдствіе, многіе боролись съ прошлымъ мѣщанствомъ; съ этой точки зрѣнія интересны статьи П. Ткачева: „Люди будущаго и герои мѣщанства“, „Идеалистъ мѣщанства“, „Уравновѣшенныя души“ (въ журналѣ „Дѣло“ 1868 г., №№ 3—5 и 1877 г., №№ 1—4). Наступленіе этихъ тяжелыхъ годовъ съ пророческой ясностью предвидѣлъ Михайловскій, предсказавшій и дикій шовинизмъ выродившихся славянофиловъ, и общій разбродъ мысли этихъ печальной памяти восьмидесятыхъ годовъ (см., напр., сочиненія IV, 433 и V, 621). Событія, въ родѣ цареубійства 1-го марта, ускорили реакціонное движеніе общества къ мѣщанству, такъ какъ они сопровождались и правительственной реакціей.

Настали восьмидесятые годы, настала эпоха общественнаго мѣщанства. О правительственной реакціи мы умолчимъ: мы можемъ обойти ее совершенно свободно, такъ какъ въ этой области восьмидесятые годы не сказали ничего новаго, а только повторили основныя черты эпохи официальнаго мѣщанства; чтобы покончить разъ навсегда съ этой стороной вопроса, скажемъ только, что эта вторичная эпоха официальнаго мѣщанства продолжалась почти четверть вѣка и оказалась такимъ образомъ гораздо продолжительнѣе эпохи общественнаго мѣщанства, продолжавшейся во всякомъ случаѣ не

болѣ десяти лѣтъ. Это общественное мѣщанство намъ особенно интересно и на него мы обратимъ главное вниманіе.

Сошли со сцены сильные люди шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ и вмѣстѣ съ ними исчезъ тотъ „духъ протеста“, который, по словамъ Глѣба Успенскаго, всегда является главнымъ тормазомъ реакціи; *протестующій звукъ* уже самъ по себѣ есть препятствіе насилію, вотъ почему легче зарѣзать безгласную рыбу, чѣмъ отчаянно кричащую курицу: „Вотъ что значитъ протестъ, хотя бы и на куриномъ языкѣ!..“ Но даже такого куриного протеста не имѣли силы высказать восьмидесятники; они предпочли роль безгласной рыбы, щедринскаго „премудраго пискаря“. Неудивительно, что русская жизнь этихъ годовъ получила самый странный, самый нелѣпый колоритъ и была воплощеннымъ противорѣчіемъ законамъ элементарнѣйшей общественной этики и логики. „Живые притаились въ могилахъ; мертвые самочинно встали изъ гробовъ и ходятъ по стогнамъ, стуча костями. Кладбищенское волшебство замѣнило здоровую, реальную жизнь“, — такъ характеризовалъ эту эпоху общественнаго мѣщанства гениальный русскій сатирикъ (Салтыковъ, Сочиненія изд. 1892 г.; VI. 370). Это „волшебство“, это отсутствіе этики и логики, еще сильнѣе подчеркнулъ Глѣбъ Успенскій. „...Первая и вторая посылки силлогизма всегда у насъ хороши, правильны, — иронизируетъ онъ, — но заключеніе — Богъ знаетъ что! Напримѣръ: артельное начало въ кругу рабочихъ предохраняетъ отъ пролетаріата. Распространеніе поэтому въ массѣ идеи товарищества заслуживаетъ всякаго одобренія. А заключеніе изъ этихъ посылокъ выходитъ всегда вотъ такое: „ежели ты будешь объ этикихъ вещахъ разговаривать, такъ берегись!..“ И мѣщане-восьмидесятники береглись: они перестали разговаривать не только объ артельномъ началѣ, но и о гораздо болѣе абстрактныхъ вещахъ: о законѣ, о личности, объ этикѣ, о правѣ. Все это поросло травой забвенія... Взамѣнъ этого махровымъ цвѣтомъ распустились такіе цвѣточки, какъ постепеновство, самосовершенствованіе и добровольное приниженіе личности...

Какъ шестидесятые годы почти вполнѣ отразились въ „Современникѣ“ и „Русскомъ Словѣ“, какъ міровоззрѣніе семидесятыхъ годовъ ярче всего выразилось въ „Отечественныхъ Запискахъ“, такъ настроеніе восьмидесятыхъ годовъ мы найдемъ въ „Недѣлѣ“ и въ „Новомъ Времени“. Въ первой отразилась вся растерянность русской интеллигенціи, потерявшей дорогу и пытающейся найти спасеніе въ проповѣди добродѣтельнаго бюрократизма, какъ пана-

цей отъ всѣхъ золь; во второмъ нашли себѣ пріютъ подонки русской мысли, начавшіе проповѣдь безпринципности и человѣконенавистничества. Характерна не сама эта проповѣдь—гдѣ и когда ея не бывало! — а полнѣйшій успѣхъ этой проповѣди; одно это уже показало, какъ низко пало русское „культурное“ общество. Мы не имѣемъ возможности подробнѣе остановиться на этой печальной, но поучительной страничкѣ изъ исторіи русской журналистики и коснемся ея только вскользь, обратившись для этого къ Салтыкову.

Великій русскій сатирикъ въ эту эпоху допѣвалъ свои лебединыя пѣсни и создавалъ такія удивительныя вещи, какъ „Господь Головлевыхъ“, „Сказки“ и „Пошехонскую Старину“. Онъ не могъ не откликнуться на всю растерянность мысли, на всю печальную узость русской мысли восьмидесятыхъ годовъ и сдѣлался рѣзкимъ сатирикомъ эпохи общественнаго мѣщанства, такъ же какъ его геніальный предшественникъ, Гоголь, былъ сатирикомъ эпохи мѣщанства официальнаго. Въ сущности Салтыковъ все время былъ сатирикомъ мѣщанства, принимавшаго разнообразныя формы; въ восьмидесятыхъ годахъ объектъ сатиры только опредѣлился рѣзче. Прежде, въ началѣ семидесятыхъ годовъ, Салтыковъ высмѣивалъ умѣренный и аккуратный мѣщанскій либерализмъ, пріотившійся на столбцахъ „Всероссійской Старѣйшей Пѣнокоснительницы“ (т.-е. „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“, редакціи Корша), съ ея девизомъ: „наше время—не время широкихъ задачъ“ (Салтыковъ, Сочин., IV, 316). Восьмидесятые годы пошли дальше. Газета „Чего изволите?“, alias газета „Помои“, издаваемая „литераторомъ“ Подхалимовымъ, alias Иваномъ Непомнящимъ, называетъ убѣжденія абракадаброю, и во всеуслышаніе заявляетъ, что „ни завтра, ни послѣзавтра не намѣрена стѣснять себя никакими узами“ (Ibid., V, 243, 468—9). Вотъ онъ—широкій индивидуализмъ восьмидесятыхъ годовъ! Подхалимовъ понялъ, замѣчаетъ Салтыковъ, что настало время мутное и мелкое, когда „мелочи, мелочи, мелочи заполнили всю жизнь“, когда „ни привципы, ни руководящіе идеалы — не ко двору“ (Ib., V, 12; VI, 327—8); въ этомъ сознаніи вѣрно понятаго положенія дѣлъ онъ съ наглой увѣренностью восклицаетъ: „печать-то вѣдь — сила! Такъ ли, отче?“ (VI, 309 — 335). Да, *такой* силы, *такого* индивидуализма было не мало въ восьмидесятыхъ годахъ...

Но такъ и быть—оставимъ въ сторонѣ газету „Чего изволите?“ съ ея проповѣдью безпринципности и наглости; обратимся лучше къ другой части русскаго общества, которая въ общемъ стояла

все таки выше всѣхъ Подхалимовыхъ и Ивановъ Непомнящихъ. Эта другая, лучшая часть погрязала въ восьмидесятыхъ годахъ въ самомъ мизерномъ и умѣреннѣйшемъ либерализмѣ, въ томъ „пѣнко-сняimatельствѣ“, которое Салтыковъ осмѣивалъ и раньше. Панацеей отъ всѣхъ общественныхъ золъ эти „либералы“ (какая профанация слова!) считали добродѣтельный мѣщанскій бюрократизмъ; отъ каждаго интеллигентнаго человѣка они требовали слѣдующаго обязательства: „я, имя рекъ, обѣщаюсь и клянусь взятокъ не брать, въ карты не играть, не пьянствовать, у начальства не подслуживаться, дѣло мнѣ порученное исполнять быстро и добросовѣстно, по мѣрѣ моихъ силъ и разумнѣя“—и тогда Россія процвѣтетъ, яко кринъ сельный... Какая ядовитая насмѣшка, неправда ли, читатель? Но вы напрасно будете искать вышеприведенной фразы во всѣхъ двѣнадцати томахъ собранія сочиненій Салтыкова: фраза эта взята изъ „Недѣли“ и составляетъ часть вполне серьезнаго символа въры любого восьмидесятника... Вотъ съ такимъ плоскимъ либерализмомъ и сражался Салтыковъ, обрушиваясь на него всѣми силами своего сарказма. „...Надо „дѣло“ дѣлать—вся задача въ этомъ состоитъ“—иронизируетъ онъ (Ib., VI, 519): вѣдь это общій девизъ всѣхъ мѣщанъ, такъ какъ буквально эти же слова мы слышали отъ дядюшки Адуева, Штольца, и услышимъ еще отъ чеховскаго профессора изъ „Дяди Вани“. Мы только-что видѣли, въ чемъ заключается это „дѣло“... А затѣмъ, кромѣ этого дѣла—the rest is silence, ибо вполне достигнуть катковскій идеалъ, такъ рельефно формулированный Михайловскимъ: „безотрадная, безбрежная пустыня, гдѣ только изрѣдка, среди всеобщаго безмолвія, раздаются крики: Караулъ!.. Держи!.. Ура!..“ Этотъ же идеалъ, вполне осуществившійся въ эпохѣ общественнаго мѣщанства, Салтыковъ очерчиваетъ слѣдующими словами: „мыслить не полагается! добрый же сынъ отечества обязывается предаваться установленнымъ тѣлеснымъ упражненіямъ и затѣмъ насыщаться, переваривать и извергать. Всякій же, кто обнаружить попытку мышленія, будетъ яко пособникъ, укrywатель и соучастникъ злодѣйскихъ замысловъ“... (Ib., VIII, 567). Неужели мы такъ и останемся при этихъ хлѣвныхъ идеалахъ?—съ отчаяніемъ восклицаетъ сатирикъ (это было въ 1881 году).

И во всемъ этомъ нѣтъ преувеличенія. Не говоримъ уже о томъ морѣ патологическаго мракобѣсія и мѣщанства, которое разливалось въ „Русскихъ Вѣстникахъ“, „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и тому подобныхъ катковскихъ „литературныхъ клоповникахъ“, по выраженію того же Салтыкова; по развѣ и проповѣдь нашихъ

„пѣнокснимателей“ изъ „Недѣли“ далеко ушла отъ такихъ идеаловъ? Конечно, у нихъ все это не было такъ рѣзко, такъ дубово, — недаромъ же они во всемъ проповѣдывали умѣренность и аккуратность; но отъ этого существо дѣла не мѣнялось. Та проповѣдь „примиренія съ дѣйствительностью“, „реабилитациа дѣйствительности“, которой въ это время усиленно занимались „пѣноксниматели“, не есть ли именно проповѣдь хлѣвныхъ идеаловъ? Надо брать отъ жизни только то, что она сама даетъ; надо удовлетворяться наличными общественными отношеніями, памятуя, что лбомъ стѣны не прошибешь; съ этой стѣной надо примириться и „дѣлать дѣло“ только въ отгороженномъ ею пространствѣ — вотъ къ чему сводилась эта проповѣдь; можно думать, что именно такъ разсуждала бы сидя въ хлѣву каждая самодовольная свинья, обладай она даромъ разумѣнія, хотя бы въ той степени, въ какой обладали имъ „пѣноксниматели“... Эти пѣноксниматели-восьмидесятники не понимали знаменитой фразы Милля, что лучше быть несчастнымъ человекомъ, чѣмъ довольной свиньей, лучше разбить лобъ объ стѣну, пытаясь пробить дорогу, чѣмъ сложить руки въ бездѣйствіи и удовлетвориться узкой и тусклой жизнью. А восьмидесятники ею удовлетворялись, они мало-по-малу привыкли къ атмосферѣ приниженности, рабства, трепетанія. Прежде россійскій либераль-доктринеръ шестидесятыхъ годовъ и либераль-пѣноксниматель семидесятыхъ годовъ говаривалъ довольно-таки смѣло: „коли я ничего не сдѣлалъ, стало быть, и бояться мнѣ нечего“; въ восьмидесятыхъ годахъ онъ сталъ способенъ только трепетно восклицать: „чего изволите?“ и „какъ прикажете“... (Ib., VI, 229). Это „какъ прикажете“ не есть ли вполнѣ тождественное повтореніе девиза „примиреніе съ дѣйствительностью“, nur mit ein bischen andern Worten? Правда, не всѣ восьмидесятники согласились стать подъ это знамя; мы должны съ уваженіемъ вспомнить „Русскія Вѣдомости“, „Русскую Мысль“ и „Вѣстникъ Европы“, либерализмъ которыхъ никогда не былъ запачканъ примиреніемъ съ дѣйствительностью, т.-е. принятіемъ девиза „какъ прикажете“; но этихъ болѣе или менѣе стойкихъ либераловъ было такъ мало, что не они характеризовали собою эту эпоху общественнаго мѣщанства. Большинство же состояло изъ тѣхъ „либераловъ“ въ кавычкахъ, которые готовы были поступиться своимъ либерализмомъ за чечевичную похлебку; еще большая часть были тѣми „либералами“ постепеновцами, о которыхъ Салтыковъ сложилъ свою остроумную и злую сказку („Либераль“; Ib., VI, 124—129). Никогда и ничего они не рисковали требовать въ полной

мѣрѣ, а сначала „по возможности“, затѣмъ „хоть что-нибудь“, а наконецъ и „примѣнительно къ подлости“. Такъ постепенно катились они по наклонной плоскости; наконецъ „идеаловъ и въ поминѣ ужъ не было—одна мразь осталась, а либераль все-таки не унывалъ: что-жъ такое, что я свои идеалы под уши въ подлости завязилъ? Зато я самъ, яко столпъ, невредимъ стою!“ И стоитъ такой либераль въ трясины мѣщанства восьмидесятыхъ годовъ и занимается самосовершенствованіемъ либерализму на славу, общественному мѣщанству на утѣшеніе и самому себѣ на пользу... Стоитъ незыблемо, а втихомолку трепещетъ: слово „реформы“ приводитъ его въ ужасъ, ибо онъ жаждетъ покоя; самое слово „реформы“ ему пріятнѣе замѣнить терминомъ „регламентація“, а еще лучше „постепенное, при содѣйствіи околоточныхъ надзирателей, благопоспѣшеніе“. Поэтому интеллигентъ-восьмидесятникъ настолько скромнень и тихъ, что даже въ участкѣ, въ графѣ „чѣмъ занимается“ про него пишутъ—„всего опасается“... (Ib., VI, 257, 363). Это все тотъ же „пискаръ премудрый“, который сто лѣтъ сидѣлъ въ норѣ и дрожаль, какъ бы его щука не слопала, и все-таки считаль себя достойнымъ гражданиномъ; у него ужъ не могло хватить смѣлости, какъ у семидесятника, карася-идеалиста, гаркнуть щукѣ прямо въ глаза: „знаешь ли ты, щука, что такое добродѣтель?...“ Но за эту продерзость карася щука слопала, а пискаръ за свое смиренство получилъ право всю жизнь дрожать въ своей норѣ... Наивные и утопическіе порывы семидесятника-карася были чужды умѣренному и аккуратному пискарю-восьмидесятнику, и Салтыковъ въ одной изъ послѣднихъ главъ своихъ „Недоконченныхъ бесѣдъ“ (1884) немногими словами великолѣпно очерчиваетъ мѣщанскіе идеалы наступающаго десятилѣтія: „резонность и солидность—вотъ лозунгъ настоящаго... Sursum corda! что это такое? зачѣмъ? по какому случаю? развѣ гдѣ-нибудь горитъ? То ли дѣло: поспѣшишь—людей насмѣшишь! тутъ по крайней мѣрѣ реальный приѣмъ слышится... Пора и образумиться; пора понять, что при извѣстныхъ условіяхъ прежде всего о томъ памятовать надлежитъ, что маленькая рыбка лучше, нежели большой тараканъ. Это нынче всѣ говорятъ. И прежде говорили, но машинально, по привычкѣ; а нынче—съ толкомъ, съ чувствомъ, съ разстановкой“... (Ib., VI, 518).

Такъ характеризоваль эпоху восьмидесятыхъ годовъ нашъ замѣчательный сатирикъ, быть можетъ, одинъ изъ ожесточеннѣйшихъ, послѣ Гоголя, ненавистниковъ мѣщанства. Мы сейчасъ постараемся разобратъся въ общей картинѣ эпохи общественнаго мѣщанства,

нарисованной Салтыковымъ, по сперва скажемъ еще два слова о тѣхъ его взглядахъ, не касающихся непосредственно эпохи восьмидесятихъ годовъ, но имѣющихъ значеніе для вопроса объ индивидуализмѣ. Салтыковъ былъ соредакторомъ Михайловскаго въ „Отечественныхъ Запискахъ“, и не трудно было бы прослѣдить несомнѣнное вліяніе замѣчательнаго публициста-семидесятника на Салтыкова въ области теоретическихъ вопросовъ: достаточно сравнить многія мѣста изъ „Благонамѣренныхъ рѣчей“ Салтыкова (1872—1876 гг.) со статьями Михайловскаго той же эпохи (см. особенно „Литературныя и журнальныя замѣтки“, 1872—1874 гг., „Дневникъ“ и „Переписку“ Ивана Непомнящаго 1874—1875 гг. и др.). Здѣсь мы поставлены въ необходимость ограничиться указаніемъ на заличность факта, и только въ общихъ чертахъ отмѣтимъ основные взгляды Салтыкова на государство, націю, народъ и личность.

Къ государству, какъ таковому, Салтыковъ относился явно отрицательно, настолько отрицательно, что почти буквально повторялъ знаменитое сравненіе К. Аксакова, по которому государство есть наростъ коры на народной сердцевинѣ; вліяніе бакунизма на критическое народничество было, вообще говоря, несомнѣннымъ. Государство терпимо лишь постольку, поскольку оно охраняетъ индивидуальность, а между тѣмъ на Западѣ, говоритъ Салтыковъ, государственная регламентація доведена до послѣдней степени, „представительными собраніями издано великое множество положеній, которыя до мельчайшихъ подробностей опредѣляютъ отношенія индивидуума къ государству“; западная наука также доказываетъ, что внѣ государства нѣтъ спасенія, такъ что въ благословенныхъ странахъ Запада проблема индивидуализма получила уже твердое и непререкаемое рѣшеніе. Но Салтыковъ не вѣрится въ такое любовное соглашеніе государства съ индивидуумомъ и утверждаетъ, что въ Европѣ идею государственности поддерживаетъ *нація* минусъ *народъ* (терминологія Михайловскаго), т.-е., иными словами, буржуазія, изъ-за своихъ личныхъ выгодъ, въ то время какъ народъ совершенно равнодушенъ къ этой идеѣ. Зато у „буржуа — государства не сходитъ съ языка“, независимо отъ того, кто этотъ буржуа по своимъ политическимъ воззрѣніямъ (П., IV, 495, 500, 501). Про Россію Салтыковъ не могъ выразиться столь же опредѣленно, во-первыхъ, по цензурнымъ условіямъ, а главное по причинѣ недостаточной дифференцированности различныхъ классовъ и слоевъ общества; но все же ясно, что онъ не принадлежитъ къ сторонникамъ идеи государственности, къ гувверменталистамъ. Впро-

чемъ, добрая половина нашихъ „культурныхъ людей“ врядь ли понимаетъ, что такое государство, ибо „одни смѣшиваютъ его съ отечествомъ, другіе—съ закономъ, третьи—съ казною, четвертые—громадное большинство—съ начальствомъ“... Эти культурные люди, а вѣрнѣе дикари высшей культуры, не задаются проклятыми вопросами; если ихъ спросить: „какую же роль играетъ государство въ смыслѣ развитія и преуспѣянія индивидуальнаго человѣческаго существованія?“—то они отвѣтятъ только „несмысленнымъ бормотаніемъ“ и растеряннымъ видомъ; если же отвѣтятъ членораздѣльной рѣчью, то только въ стилѣ салтыковскаго Генички (изъ „Мелочей жизни“), типичнаго чинуши-восьмидесятника: „государство—это все,—ораторствуетъ Геничка;—наука о государствѣ—это современный палладіумъ. Это цѣлое вѣрованіе. Никакой отдѣльный индивидуумъ немислимъ внѣ государства“... (Ib., VI, 482; V, 111 и др.). А что же отвѣтятъ настоящіе интеллигенты, критически мысляція личности? Они дали свой посильный отвѣтъ въ семидесятыхъ годахъ и ушли временно со сцены въ эпоху торжествующаго общественнаго мѣщанства. Такимъ семидесятникомъ былъ и Салтыковъ, а потому его рѣшеніе проблемы индивидуализма вполне совпадаетъ съ рѣшеніемъ, даннымъ критическимъ народничествомъ.

Возвращаемся однако къ характеристикѣ восьмидесятыхъ годовъ. Не будемъ больше обращаться къ художественной литературѣ, которая могла бы насъ снабдить еще богатѣйшимъ матеріаломъ по характеристикѣ этой эпохи общественнаго мѣщанства; впрочемъ мы еще коснемся этого, говоря о Чеховѣ и М. Горькомъ. Опредѣляя же восьмидесятые года по существу, мы скажемъ, что эпоха общественнаго мѣщанства, какъ это уже было отмѣчено выше, стояла на трехъ китахъ—на теоріи малыхъ дѣлъ, на постепенности и на самоусовершенствованіи.

Здѣсь передъ нами убѣдительнѣйшій примѣръ того, какъ индивидуализмъ, доведенный до своихъ крайнихъ предѣловъ, неизбежно впадаетъ въ мѣщанство. Казалось бы, что и теорія малыхъ дѣлъ и самосовершенствованіе—ярко индивидуалистическіе принципы; дѣйствительно, вѣдь теорія малыхъ дѣлъ есть не что иное, какъ утрированный принципъ блага *реальной* личности. Идеалы и убѣжденія неизбежно приводятъ къ теоретичности—утверждали восьмидесятники:—долой ихъ, и давайте „дѣло дѣлать“, хотя бы маленькое, незамѣтное дѣло, но которымъ мы можемъ принести дѣйствительное благо нашему ближнему; „любовь къ ближнему“, а не „любовь къ дальнему“ должна всегда стоять впереди. Не трудно видѣть въ

этомъ почти буквальный повтореніе того, что въ свое время говорили и Писаревъ и Михайловскій: мы знаемъ, что первый также отрицалъ общіе идеалы и убѣжденія и проповѣдывалъ теорію малыхъ дѣлъ и самосовершенствованіе, а второй усиленно настаивалъ на принципѣ блага реальной личности; но несмотря на все это, и Михайловскій и Писаревъ были яркими индивидуалистами, а восьмидесятники были явными мѣщанами. Это показываетъ, что отъ Капитолія до Тарпейской скалы, отъ индивидуализма къ мѣщанству всего одинъ шагъ. Ультра-индивидуалиста Писарева спасала отъ мѣщанства прежде всего широта его міровоззрѣнія, во главу угла котораго онъ не клалъ ни самосовершенствованія, ни теоріи малыхъ дѣлъ. Писаревъ вѣрилъ во всеиліе интеллигенціи, восьмидесятники вѣрили во всеиліе полиціи; поэтому Писаревъ проповѣдывалъ самосовершенствованіе и теорію малыхъ дѣлъ какъ одинъ изъ путей достиженія дѣли, а восьмидесятники, реабилитируя дѣйствительность, голклись со своимъ самосовершенствованіемъ на одномъ мѣстѣ. Самосовершенствованіе для самосовершенствованія—это въ высокой степени ультра-индивидуалистическій принципъ, вслѣдствіе своей узости звергнувшій восьмидесятниковъ въ самое беспросвѣтное мѣщанство, также какъ и теорія малыхъ дѣлъ. Эта же проповѣдь самосовершенствованія не привела къ мѣщанству ни Достоевскаго, ни Л. Толстого, такъ какъ безпредѣльная широта ихъ міровоззрѣній не доехала до Тарпейской скалы ихъ индивидуализмъ.

Итакъ, здѣсь надо различать: *il y a fâgots et fâgots*, есть самосовершенствованіе индивидуалистическое и есть самосовершенствованіе мѣщанское; то же можно повторить и про теорію малыхъ дѣлъ, и про постепенство. Крайность есть узость, а узость есть мѣщанство: это надо всегда помнить. Намъ не хотѣлось бы однако, тобы насъ приняла за проповѣдниковъ золотой середины, умѣренности и аккуратности: читатель имѣлъ достаточно случаевъ убѣдиться, что именно въ этой серединности, умѣренности и аккуратности мы видимъ центръ мѣщанства. Возьмемъ кстати эти умѣренность и аккуратность, чтобы выяснитъ вопросъ о границахъ ультраиндивидуализма и мѣщанства. Умѣренность и Аккуратность — это, какъ извѣстно, двѣ бобылки, проживающія на задворкахъ добродѣльскихъ селеній и потихоньку водящія знакомство съ Пороками, оторымъ онѣ разводять вѣчную канитель: „пomalеньку-то покойнѣе, потихоньку вѣрнѣе“ (Салтыковъ; „Сказки“, VI, 31); однимъ словомъ, это такія добродѣтели, съ которыми неизбѣжно придется б картофельной нравственности и къ морали рабовъ. Конечно,

отсюда не слѣдуетъ, что неаккуратность и неумѣренность не приведутъ насъ къ мѣщанству; русская „широкая натура“, это типичное отрицаніе картофельныхъ добродѣтелей, является въ то же время вполне мѣщанскимъ явленіемъ, ибо широкій размахъ, широта этой натуры ограничены весьма узкими границами. Мы не предлагаемъ выбирать златой середины между умѣренностью и неумѣренностью (понятія эти мы прилагаемъ, конечно, къ области идеологій), а указываемъ, что оба эти пути вслѣдствіе своей узости приводятъ къ мѣщанству. Похвально быть аккуратнымъ — это извѣстно еще изъ прописей, еще похвальнѣе быть умѣреннымъ, но объ эти добродѣтели, поставленныя во главу угла, достойны только Молчалива. Короче говоря, *лишь только мы возведемъ умѣренность и аккуратность въ принципъ, какъ тѣмъ самымъ мы немедленно впадемъ въ мѣщанство.*

Буквально то же самое можно повторить о самосовершенствованіи, теоріи малыхъ дѣлъ и постепенности, объ этихъ коренныхъ добродѣтеляхъ восьмидесятыхъ годовъ: всѣ онѣ живутъ на задворкахъ индивидуализма и въ тѣсной связи съ мѣщанствомъ. Конечно, отсюда вовсе не слѣдуетъ, что самосовершенствованіе — предразсудокъ, что надо создать „теорію великихъ дѣлъ“, что на мѣсто постепенности надо поставить теорію катастрофъ: оба эти пути ведутъ къ мѣщанству вслѣдствіе своей крайней узости. *Восьмидесятые года возвели самосовершенствованіе, теорію малыхъ дѣлъ и постепенность въ принципъ, положили ихъ во главу угла, и тѣмъ самымъ впали въ безпросвѣтное мѣщанство.* Въ этомъ была ихъ ошибка, въ этомъ было ихъ несчастіе. Конечно, необходимо самосовершенствоваться, но не менѣе необходимо не класть такое самосовершенствованіе въ основу всей системы взглядовъ; надо, конечно, дѣлать и „малыя дѣла“, но узко и плоско возводить это въ теорію; постепенность развитія заслуживаетъ полнѣйшаго вниманія, но возведя его въ норму практической дѣятельности, мы тѣмъ самымъ добровольно связываемъ себѣ руки. Дѣлайте „малыя дѣла“, а значить не берите взятокъ, исполняйте честно и добросовѣстно свою чиновничью службу, но не утверждайте, что въ этомъ — панацея отъ всѣхъ общественныхъ золъ, не ограничивайте этимъ все свое міровоззрѣніе, — такъ можно было сказать мѣщанамъ восьмидесятникамъ и повторить то же самое о самосовершенствованіи и постепенности. Самосовершенствованія требовали величайшіе индивидуалисты — Достоевскій и Л. Толстой, за постепенность ратовалъ Герценъ — но онъ не былъ постепенцемъ. „Я нисколько не боюсь слова *посте-*

пенность, — писалъ Герценъ Бакунину (въ 1869 г.), — постепенность, такъ (же) какъ непрерывность неотъемлемы всякому процессу разумѣнія "... Слова Герцена неоспоримы, а извращеніе ихъ мелкимъ пѣнокснимательнымъ либерализмомъ восьмидесятниковъ по-казываетъ только убогую узость мысли этихъ представителей эпохи общественнаго мѣщанства. Наконецъ, „малымъ дѣламъ“ симпатизировалъ не кто иной, какъ Писаревъ, ихъ не оспаривалъ никто и никогда; мѣщанство заключается только въ возведеніи ихъ въ теорію. Не воруйте носовыхъ платковъ изъ кармановъ — это истина почтенная и всѣми признаваемая; зачѣмъ же провозглашать ее съ барабаннымъ боемъ и утверждать, что вся мораль покоится на этой неколебимой основѣ? Въ этомъ-то и заключается мѣщанство.

Таковы были основныя воззрѣнія (обидно профанировать слово „міровоззрѣніе“) этой печальной памяти эпохи восьмидесятыхъ годовъ, этой эпохи общественнаго мѣщанства, этой позорной страницы изъ исторіи русскаго „культурнаго“ общества... Не хочется останавливаться на этомъ подробнѣе, хотя и не безынтересно было бы углубиться въ темныя дебри журналистики восьмидесятыхъ годовъ и указать читателю на разные Perlen und Diamanten... Впрочемъ, мы указали уже на существеннѣйшее и можемъ проститься съ этой грустной эпохой, затронувъ предварительно еще два пункта, особенно характеризующіе настроенія восьмидесятыхъ годовъ. Мы говоримъ про эстетизмъ и про толстовство.

Извѣстно, что Марксъ не былъ „марксистомъ“, Писаревъ не былъ „писаревцемъ“, Лавровъ не былъ „лавристомъ“; точно также и Л. Толстой не былъ „толстовцемъ“, а если и былъ, то лишь въ томъ каламбурномъ смыслѣ, въ какомъ Вольтеръ былъ „вольтерьянцемъ“... Этотъ великій мятущійся духъ, про котораго дѣйствительно можно сказать, что болѣе полувѣка велъ онъ борьбу самъ съ собою, десница съ шуйцей, индивидуализмъ съ анти-индивидуализмомъ, — этотъ великій духъ никогда не приближался къ мѣщанству; между тѣмъ толстовство — все въ мѣщанствѣ, имъ начинается, имъ и кончается. Толстой былъ всегда безконечно широкъ и никогда не застывалъ на разѣ найденной истинѣ, не удовлетворялся ею; правда, въ самомъ началѣ восьмидесятыхъ годовъ ему показалось, что онъ нашелъ абсолютную, безусловную истину, новое откровеніе: тогда онъ сталъ пророчески вѣщать, ему стало все ясно, все понятно... Этого было достаточно, чтобы такъ называемое „толстовство“ пустило глубокіе корни и распустилось махровымъ цвѣтомъ.

Зерно пало на плодородную мѣщанскую почву восьмидесятихъ годовъ и дало плодъ сторицею, тѣмъ болѣе, что между принципами „толстовства“ и отмѣченными выше основными положеніями восьмидесятихъ годовъ существовала тѣсная связь и трогательное единодушіе. Самосовершенствованіе, постепеновство, малыя дѣла—все это толстовство нашло уже готовымъ въ окружавшей его атмосферѣ; къ этому не трудно уже было прибавить и всѣ прочіе пункты откровенія Толстого: непротивленіе злу, примать морали и т. п. Особенно пышно расцвѣлъ якобы индивидуалистическій принципъ внутренней свободы... Мы знакомы съ этимъ принципомъ: еще Пьеръ Безухій очень веселился при мысли, что французы держатъ его въ плѣну: „поймали меня, заперли меня. Въ плѣну держатъ меня. Кого меня? Меня? Меня—мою безсмертную душу! Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!“... Русское общество восьмидесятихъ годовъ попробовало такъ же отнестись къ вопросу о свободѣ: толстовство заявило, что впереди всего стоитъ внутренняя свобода, свобода духа, что индивидуальной духовной свободѣ не страшны ни цѣпи, ни стѣны; въ восьмидесятые года думать такъ было особенно утѣшительно... Но этотъ ультра-индивидуализмъ впадаетъ въ сугубое мѣщанство, такъ какъ суживаетъ безмѣрно идею человѣческой личности и считаетъ, что неотъемлемыя права личности вполне достаточны, и что права человѣка (т.-е. внѣшняя свобода) — излишняя роскошь. Условное различіе между реальной личностью и абстрактнымъ человѣкомъ необходимо съ точки зрѣнія методологической, но не надо забывать, что и *личность* и *человѣкъ* — это только двѣ половины единой и цѣльной *человѣческой личности*; удовлетворяться одной изъ этихъ половинокъ—безразлично какой: „человѣкомъ“ ли, какъ дѣлали либеральные доктринеры, „личностью“ ли, какъ дѣлали толстовцы — значитъ преднамѣренно суживать человѣческую личность и изъ ультра-индивидуализма впадать въ мѣщанство. Только гармоничное соединеніе внѣшней свободы абстрактнаго человѣка и внутренней свободы реальной личности достойно широкаго и глубокаго индивидуализма, не мирящагося съ компромиссами и палліативами и требующаго простора *жизни во всю...*

Этические запросы всегда стояли впереди всего для Толстого, но они обратились въ бесплодное и сухое морализированіе въ толстовствѣ. „Какъ мнѣ жить свято?“ — это мучительный и болѣзненный вопросъ каждаго изъ кающихся дворянъ всю жизнь преслѣдовалъ великаго писателя земли русской; однажды ему показалось, что онъ нашелъ рѣшеніе вопроса, и изъ этого рѣшенія толстов-

ство сдѣлало себѣ фетиша. Каждое слово, исходившее изъ Ясной Поляны, было словомъ закона, непререкаемаго и безапелляціоннаго; если эти „слова“ противорѣчили другъ другу, то нужно было только замѣнить въ свое время одно „слово“ другимъ. Сегодня Толстой изрекалъ, что главная задача женщины — дѣтороженіе, завтра онъ проповѣдывалъ всеобщую дѣвственность; сегодня онъ осуждалъ денежную помощь, завтра онъ обращался съ воззваніемъ о помощи деньгами голодающимъ — и въ Толстомъ все это было глубоко искренно, глубоко непосредственно. Толстовство благоговѣнно воспринимало то, что *magister dixit*, и возводило въ принципъ каждое слово великаго писателя; то, что было индивидуализмомъ въ Толстомъ, стало мѣщанствомъ въ толстовствѣ. Опрощеніе, теорія непривлеченія злу были не индивидуалистическими, но индивидуальными чертами Толстого; насильственно привитыя и взрощенные въ атмосферѣ восьмидесятыхъ годовъ, они заостренѣли въ мертвыхъ, узкихъ, плоскихъ, мѣщанскихъ формахъ толстовства.

Мѣщанство, мѣщанство и мѣщанство — таковъ тусклый обликъ восьмидесятыхъ годовъ. Прощаясь съ ними, мы остановимся еще на одной сравнительно свѣтлой чертѣ этой эпохи, хотя и эта черта мѣстѣ съ ложкой меда внесла также большую бочку дегтя. Эта ложка меда — возрожденіе эстетики, эта бочка дегтя — вырожденіе эстетики въ эстетизмъ.

Эстетику гнали въ шестидесятыхъ годахъ, къ ней были равнодушны въ семидесятыхъ. Правда, семидесятники поняли, что „разрушеніе эстетики“ — печальное и безнадѣжное предпріятіе антииндивидуалистическаго характера, намѣренно (и даже злонамѣренно) буживающее личность и воздвигающее преграду между ней и чело-вѣкомъ; семидесятники поняли неизбежность и даже желательность эстетическихъ эмоцій: „развѣ нельзя служить истинѣ и справедливости и въ то же время любоваться красотой звѣздъ и цвѣтовъ?“ ... — однимъ изъ первыхъ семидесятниковъ заявилъ Михайловскій (Собр. соч., VI, 616). Это былъ значительный шагъ впередъ, но дальше семидесятники не пошли: расчистивъ передъ эстетикой широкую дорогу, они сейчасъ же возстали противъ глубины ея содержанія: мы уже знаемъ, что широта и боязнь глубины характеризуютъ обою эту эпоху. Признавъ законность эстетики, семидесятники въ то же время повели жестокую борьбу съ фантомомъ „чистаго искусства“, или „искусства для искусства“, считая его признакомъ эгоцентрическаго періода, симптомомъ подавленія личности. „Искусство для чело-вѣка!“ также какъ истина для чело-вѣка, справедли-

вость для человѣка—вотъ девизъ семидесятыхъ годовъ, несомнѣнно заслуживающій всяческаго признанія; но отстаивая его, семидесятники, съ Михайловскимъ во главѣ, впади въ ту же самую ошибку, которую мы отмѣтили у нихъ въ отношеніи науки. Возставая противъ узкой специализаціи, они не видѣли возможности примирить широту личности съ ея глубиной и жертвовали послѣдней для вѣщаго развитія первой. Но по отношенію къ эстетикѣ они впади еще въ другую, гораздо болѣе грубую ошибку: они не сумѣли разграничить своихъ требованій *къ самимъ дѣтелямъ искусства и къ области ихъ творчества*, къ художникамъ и къ искусству; они не поняли, что только по отношенію къ первымъ девизъ „искусство для искусства“ заслуживаетъ порицанія. Если кто бы то ни было посвящаетъ *всю* свою жизнь искусству или наукѣ—будь онъ Бетховенъ, Кантъ, Ньютонъ, все равно,—то какъ бы ни „глубоко“ онъ жилъ, до какихъ бы глубинъ творчества не дошелъ, онъ узокъ, онъ не „весь человѣкъ“, онъ только специалистъ, узостью своей приближающійся къ мѣщанству. „Искусство для искусства“ по отношенію къ самому человѣку заслуживаетъ несомнѣннаго осужденія, и *въ этомъ смыслѣ* мы солидарны съ семидесятниками: да, искусство для искусства, наука для науки *въ этомъ смыслѣ* недостойны широкой человѣческой личности, въ этомъ смыслѣ они вполне анти-индивидуалистичны.

Но семидесятники стали на совершенно ложную почву, осуждая искусство для искусства по отношенію къ области творчества. Надъ содержаніемъ искусства властенъ только художникъ, и въ этомъ случаѣ отрицаніе чистаго искусства есть подавленіе личности и сугубый анти-индивидуализмъ. Семидесятники требовали тенденціознаго искусства; девизъ „искусство для человѣка“ значилъ для нихъ искусство, трактующее исключительно или главнымъ образомъ о человѣкѣ, его горестяхъ, печаляхъ, страданіяхъ и радостяхъ; отсюда ихъ безразличное отношеніе къ музыкѣ, отрицательное отношеніе къ пейзажу и положительное отношеніе къ жанру (вспомнимъ, что именно къ семидесятымъ годамъ относится апогей вліянія и славы передвижниковъ). Чистое, не тенденціозное искусство невозможно, часто заявлялъ Михайловскій (напр., I, 121, 135 и др.), но онъ никогда не пробовалъ показать, какая тенденція можетъ заключаться, напримѣръ, въ симфоніи; подъ „чистымъ искусствомъ“ онъ понималъ *объективное* искусство (напр., I, 122 — 3; III, 646; V, 536 и др.), и въ этомъ его сугубая ошибка, такъ какъ чистое искусство, наоборотъ, въ высокой степени субъективно, и чѣмъ

„чище“, тѣмъ субъективнѣе. Понимать искусство на манеръ семи-десятниковъ, значить впадать въ совершеннѣйшую плоскость и не сознать полной независимости эстетическихъ эмоцій отъ какихъ бы то ни было дисциплинъ; конечно, говоря о независимости, мы не отрицаемъ возможности связи. Мы принимаемъ формулу „искусство для человѣка“ и по отношенію къ области творчества, и по отно-шенію къ дѣателямъ творчества, но понимаемъ ее гораздо шире и глубже. Да, „искусство для человѣка“—это долженъ помнить каждый дѣатель искусства; это значить, что онъ долженъ быть человѣкомъ, а не только рабомъ искусства; это значить, что онъ долженъ быть не только глубоко (спеціализація), но и широко (энциклопедичность); что та область, которой онъ себя посвятилъ, не должна поглощать его всего; что онъ прежде всего живая человѣческая личность, а уже потомъ художникъ; что въ своей области онъ долженъ рабо-тать главнымъ образомъ, но не исключительно; что, наконецъ, суб-бота для человѣка, а не человѣкъ для субботы. Но въ своей области онъ долженъ быть полнымъ хозяиномъ, и если онъ истинный ху-дожникъ, то никогда онъ не унижится до тенденціознаго искусства; чистое искусство только одно возможно и желательно, и такое чистое искусство будетъ именно „искусствомъ для человѣка“, искус-ствомъ на потребу человѣку, ибо только такое искусство будетъ во-площеніемъ красоты.

Красота — этого слова не понимали и не хотѣли понимать въ шестидесятыхъ и въ семидесятыхъ годахъ; но все-таки мы ви-дѣли, что семидесятники сдѣлали одинъ шагъ впередъ: трудъ есть или долженъ быть наслажденіемъ, говорилъ велѣдь за Чернышев-скимъ Писаревъ (Сочин., V, 204); „развѣ нельзя служить истинѣ и справедливости и въ то же время любоваться красотой звѣздъ и цвѣтовъ?...“ отвѣтилъ Михайловскій (Сочин., VI, 616), и разумѣется онъ былъ правъ. Но почему же въ такомъ случаѣ нельзя любо-ваться красотой произведеній „чистаго“ искусства—красотой пере-лизовъ тоновъ картины, красотой переливовъ звуковъ симфониче-ской поэмы, изображающихъ ту же звѣздную ночь? Въ настоящее время все это трюизмы, но четверть вѣка тому назадъ трюизмы эти считались величайшей ересью; семидесятники не видѣли, что эсте-тика занимаетъ равноправное мѣсто рядомъ съ этикой и логикой, что не только истина и справедливость, но и красота составляютъ все содержаніе жизни реальной личности. Правда-истина, правда-справедливость, правда-красота — вотъ тріединая правда, въ по-

строении которой заключается высшая цѣль всякаго міровоззрѣнія; правды-красоты не было въ міровоззрѣніи семидесятихъ годовъ.

Эстетика возродилась въ восьмидесятихъ годахъ. Безспорно, реакціонная почва была чрезвычайно благопріятна для роста теоріи чистаго искусства, но это нисколько не понижаетъ цѣнности такого искусства вообще. Движеніе въ сторону эстетики несомнѣнно должно было произойти рано или поздно, и если общій духъ эпохи способствовалъ усилению интереса къ искусству, то зато онъ же привелъ возрожденное теченіе къ крайности исключительнаго эстетизма. Дѣйствительно, съ одной стороны, восьмидесятыя годы дали намъ такого изумительнаго художника-импрессиониста, какъ Чеховъ, а съ другой стороны они привели къ уродливымъ проявленіямъ такъ называемаго „декадентства“. (Наше отношеніе къ декадентству выяснится нѣсколько ниже). О Чеховѣ рѣчь впереди, а теперь мы скажемъ только о томъ исключительномъ эстетизмѣ, въ который выродилась эстетика въ восьмидесятихъ годахъ. Восьмидесятники перевернули формулу предыдущаго десятилѣтія, и по свойственному себѣ мѣщанству снова впали въ крайность и въ узость. „Искусство для человѣка!“ — таковъ былъ девизъ семидесятихъ годовъ, примѣняемый въ узкомъ смыслѣ и къ самому художнику и къ области его творчества: мы показали, что первое вполне законно, а второе вполне невѣрно. „Искусство для искусства“ — восклицали восьмидесятники, примѣняя это положеніе и къ области художественнаго творчества и къ дѣятелямъ его: не трудно видѣть, что и въ этомъ случаѣ первое неоспоримо, а второе глубоко ложно. Дѣйствительно, что въ области художественнаго творчества можно и должно руководиться только принципомъ искусства для искусства, чистаго искусства — это мы уже отмѣтили выше; примѣнять же требованіе искусства для искусства къ самому человѣку — это значитъ безконечно служить человѣческую личность. Только въ искусствѣ смыслъ и цѣль жизни — гласить иными словами это требованіе; человѣкъ всецѣло долженъ уйти въ искусство, которое одно поднимаетъ на недостижимую высоту отъ мелочей будничной жизни; только уйдя въ искусство и въ самого себя человѣкъ будетъ жить истинной, широкой и глубокой жизнью, *in Lebensfluten, in Thatensturm...* Вотъ та теорія исключительнаго эстетизма, въ которую выродилась въ восьмидесятихъ годахъ возродившаяся эстетика; на этомъ примѣрѣ мы увидимъ еще и еще разъ, какъ ультра-индивидуализмъ впадаетъ въ узкое и тусклое мѣщанство. Въ самомъ дѣлѣ, трудно прійти къ большей узости взгляда на жизнь, какъ на сферу проявленія искус-

ства, и на человѣка, какъ на орудіе этого проявленія: ограничить всю жизнь рамками эстетизма, это значитъ атрофировать въ себѣ все остальное, человѣческое; это значитъ провозгласить девизъ „человѣкъ для искусства“, девизъ не только анти-индивидуалистическій, но и сугубо мѣщанскій. Семидесятники служивали область творчества, но требовали широты художника какъ человѣка, а потому были далеки отъ мѣщанства; восьмидесятники расширили область творчества, но впали въ безпросвѣтную узость эстетизма, ставя искусство во главу угла человѣческой жизни: это вѣчная ихъ ошибка, главная причина всего ихъ мѣщанства. Они не видѣли, что истина лежитъ посерединѣ между ними и семидесятниками; это стало ясно только поколѣнію начала XX вѣка. Мы принимаемъ оба эти девиза: да, „искусство для искусства“, чистое искусство должно имѣть мѣсто въ сферѣ художественнаго творчества; да, „искусство для человѣка“ — несомнѣнная истина въ примѣненіи къ дѣятелямъ искусства. Но мы однако отрицаемъ какъ тенденціозное искусство семидесятниковъ, такъ и чистый эстетизмъ восьмидесятыхъ годовъ, ибо первое является анти-индивидуалистичнымъ, а второй — въ высокой степени мѣщанскимъ. Что же касается указаннаго нами рѣшенія, то мы встрѣчались съ нимъ еще у Пушкина (см. т. I, гл. IV) и здѣсь только развили то, что сказалъ величайшій русскій поэтъ еще въ „Скупомъ Рыцарѣ“ и „Моцартѣ и Сальери“.

Поистинѣ восьмидесятые годы имѣли *privilegium odiosum* накладывать на все окружающее печать самага тусклаго мѣщанства. Великая эволюціонная идея непрерывности и постепенности развитія обратилась у нихъ въ плоское постепеновство, сопровождаемое вѣчным *refrain*’омъ на мотивъ: „лбомъ стѣны не прошибешь и плетью обуха не перешибешь“; неизбежность „малыхъ дѣлъ“ въ жизни обратилась у нихъ въ теорію житейскаго благоразумія, самосовершенствованіе опошлилось до самоублаженія... Наконецъ и возродившаяся эстетика выродилась подъ ихъ фѣрулой въ узкій эстетизмъ мѣщанскаго пошиба...

На этомъ темномъ, безпросвѣтномъ фонѣ мѣщанства загорались иногда яркія искорки, показывавшія, что скоро „заря взойдетъ и тьму разсѣетъ“. Послѣдніе могики семидесятыхъ годовъ — Гл. Успенскій, Салтыковъ, Михайловскій — все время боролись съ общественнымъ мѣщанствомъ; на горизонтѣ заблестѣлъ изумительный талантъ Чехова; въ широкой публикѣ мало-по-малу нарождался интересъ къ общественно-экономическимъ наукамъ. Чувствовалось, что скоро настанетъ время посрамленія чиновничьихъ идеаловъ, мѣщан-

ской морали и картофельныхъ добродѣтелей; и дѣйствительно, скоро въ мертвое болото общественнаго мѣщанства пробилась первая живая струя новой идеологіи—марксизма девяностыхъ годовъ.

Прощаясь съ этой печальной эпохой общественнаго мѣщанства, мы не помянемъ ее добромъ. Часто можно слышать, что мертвенное міровоззрѣніе восьмидесятниковъ не ихъ вина, а ихъ бѣда, что они явились фатальнымъ слѣдствіемъ вновь воскресшаго гнета николаевской системы, что они все тѣ же „лишніе люди“, которыхъ въ свое время породила эпоха официальнаго мѣщанства. Въ этихъ общихъ мѣстахъ очень мало истины и очень много некритическаго смѣшенія понятій. Конечно, „лишніе люди“ были всегда, были они и въ восьмидесятыхъ годахъ, и не всякій лишній человѣкъ дѣйствительно является таковымъ въ установленномъ за этимъ терминомъ смыслѣ. Кромѣ того, всякіе вѣдь бывали „лишніе люди“, начиная съ Чулкатурина и кончая Руднымъ и Бельтовымъ, въ которыхъ мы имѣемъ постепенную градацію отъ мѣщанства къ индивидуализму; лишними людьми называла себя всякая мразь изъ породы чистѣйшихъ мѣщанъ, а иногда и чистѣйшихъ мерзавцевъ (въ родѣ, на примѣръ, щедринской „талантливой натуры“—Горехвастова). Въ своемъ мѣстѣ мы указывали, что истинные лишніе люди были „лучшіе люди“ своего времени, люди не приспособившіеся къ мѣщанству и неспособные примириться съ идеалами разныхъ Штольцевъ и дядюшекъ-Адуевыхъ. Какіе же послѣ этого восьмидесятники—лишніе люди? Называть любого восьмидесятника лишнимъ человѣкомъ, значитъ оскорблять память Лаврецкаго, Рудина, Бельтова и многихъ дѣйствительно существовавшихъ лишнихъ людей, имена же ихъ Ты, Господи, вѣси. Лишнихъ людей и восьмидесятниковъ роднить только одно: и тѣ и другіе были въ высокой степени слабые люди; но это слишкомъ общій признакъ, по которому, пожалуй, и Пушкина пришлось бы счесть лишнимъ человѣкомъ и предтечѣй восьмидесятниковъ; главные же признаки совершенно не совпадаютъ. Лишніе люди таили въ себѣ глубокое противорѣчіе; каждый изъ нихъ могъ бы сказать про себя знаменитое фаустовское:

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust;

внутреннюю трагедію cadaго изъ нихъ составляла борьба мѣщанства съ индивидуализмомъ и романтизма съ реализмомъ. Восьмидесятники отнюдь не таили in seinen Brust такого противорѣчія; они дошли до вершинъ ультра-индивидуализма, откуда незамѣтно для себя спустились въ болота мѣщанства и основательно погрязли въ нихъ

„безъ борьбы, безъ думы роковой“; мы старались показать, что это были чистокровнѣйшіе мѣшане, а если это такъ, то титуль „лишнихъ людей“ для нихъ слишкомъ почетенъ, а для памяти лишнихъ людей—слишкомъ оскорбителенъ. Очень ужъ непривлекательный мѣшанскій типъ представляетъ собою восьмидесятникъ... „Вотъ по-нѣшнее поколѣніе!..—слышимъ мы слова одного изъ героевъ Гл. Успенскаго:—можетъ ли быть онъ гнѣвенъ, или можетъ ли быть онъ добръ? Нѣту! Плюнь ему въ рожу—у него рука не осмѣлится на оплеуху! Понадѣйся на него—не выручить, будетъ спать покойно, хоть бы ты у него стоналъ всю ночь подъ окномъ. Не гнѣвенъ и не любовенъ!“... Въ этомъ, конечно, преувеличеніе, но въ то же время и много истины: этотъ портретъ похожъ на восьмидесятника; похожъ ли онъ однако на лишняго человѣка? Восьмидесятникъ ни горячъ, ни холоденъ, а только теплъ; лишній человѣкъ постоянно или горячъ, или холоденъ, но чаще всего далекъ отъ серединности. „...Сердце твое неправильное—продолжаетъ Гл. Успенскій,—направленіе-то въ немъ заячье! Оно говоритъ «жалѣй!», а ты боишься, оно говоритъ «не стерпи, возопи!», а ты опять боишься... Вотъ какъ я думаю. Отвыкли сердца слушаться, думаю, что квартальный лучше укажетъ «какъ надо». И идетъ по землѣ не жизнь, а такъ, гнилье грибное... Умѣютъ только бояться! Образованіе великолѣпное, а хвостикъ заячій!..“ Все это не приложимо ни къ Рудину, проведенному всю жизнь въ борьбѣ и погибшему на баррикадахъ, ни къ Бельтову, ни къ Лаврецкому, ни къ болѣе мелкимъ представителямъ лишнихъ людей; но зато отъ слова до слова все это примѣнимо къ восьмидесятникамъ, этимъ представителямъ грибного гнилья, разучившимся слушаться сердца и въ отвѣтъ на его приказаніе „не стерпи, возопи!“ умѣвшимъ только поджимать свой заячій хвостикъ... Нѣтъ, не будемъ оскорблять лишнихъ людей сравненіемъ ихъ съ восьмидесятниками, а если ужъ искать для послѣднихъ наиболѣе подходящаго имени, то ихъ можно назвать *промежуточными людьми*. Да, это были ни горячіе, ни холодные промежуточные люди, промежуточные во всѣхъ отношеніяхъ: и сама эпоха восьмидесятыхъ годовъ была промежуточной, никчемной эпохой, и идеалы были промежуточные. Бываютъ такіа промежуточные эпохи идейнаго междуцарствія, о которыхъ только и можно сказать, что вотъ-де передъ этой эпохой было то-то, а послѣ нея то-то; сама же она является какимъ-то пустымъ мѣстомъ, дырой въ области разумнія, промежуткомъ. Конечно, и такой промежуточный періодъ исторически необходимъ, но это плохое утѣше-

ніе для тѣхъ, кто имѣлъ несчастіе выйти на историческую сцену именно около этого времени. Такой промежуточной эпохой были восьмидесятые годы: передъ ними было народничество, за ними стоялъ марксизмъ, сами же они представляли идеологическую дыру, которую восьмидесятники тщетно старались заштопать теоріями постепенности, малыхъ дѣлъ, самосовершенствованія, толстовства, эстетизма и иными подобными. Изъ ничего выйдетъ ничего, говорилъ король Лиръ; изъ эпохи общественнаго мѣщанства могла только выйти тусклая и жалкая мѣщанская идеологія; это совершеннѣйшее ничто, составляющее позорную страницу въ исторіи русскаго „культурнаго“ общества.

Чѣмъ и какъ кончились восьмидесятые годы—это мы еще увидимъ; на смѣну мѣщанской идеологіи пришла новая и смѣлая идеологія девяностыхъ годовъ. На рубежѣ между ними стоитъ кошмарный, страшный 1891—92 г., голодный годъ, пробудившій все общество какъ бы ударомъ грома отъ дремотнаго полубездѣйствія теоріи малыхъ дѣлъ. Прежде, когда „малыя дѣла“ оканчивались плачевной неудачей—а это сплошь да рядомъ бывало въ восьмидесятыхъ годахъ—общество не тужило и съ такимъ же успѣхомъ принималось за новыя малыя дѣла. Одинъ изъ тысячи примѣровъ: восьмидесятники усиленно восхищались школами грамотности, какъ малымъ дѣломъ, которое по результатамъ можетъ замѣнить хожденія въ народъ семидесятниковъ; однако вскорѣ, вслѣдствіе закона 4 мая 1891 г., школы грамотности выродились въ церковно-приходскія школы. Это, конечно, было печально, но не наносило особаго удара теоріи малыхъ дѣлъ; можно было съ тѣмъ же успѣхомъ приняться за новыя малыя дѣла. Совершенно не то принесъ съ собой ужасный 1891—92 г. Конечно, не русское общество было виновато въ неурожаѣ, но оно было виновато въ томъ, что дѣлыя десять лѣтъ оно бездѣйствовало, не боролось за измѣненіе тѣхъ коренныхъ условій, отъ которыхъ зависитъ голоданіе миллионовъ людей; русское общество было виновно въ томъ, что оно трусливо отрекивалось отъ всякаго широкаго и обобщающаго міровоззрѣнія, отъ всякаго быстрого и энергичнаго дѣйствія, боязливо прячась за фразу: „помаленьку-то покойнѣе, а потихоньку—вѣрнѣе“. Голодный 1891—92 годъ со страшной очевидностью показалъ, что не всегда это бываетъ такъ, что малыя дѣла могутъ привести къ большому бѣдствію; съ этого года начинается постепенное пробужденіе русской интеллигенціи отъ позорнаго усыпленія эпохи общественнаго мѣщанства.